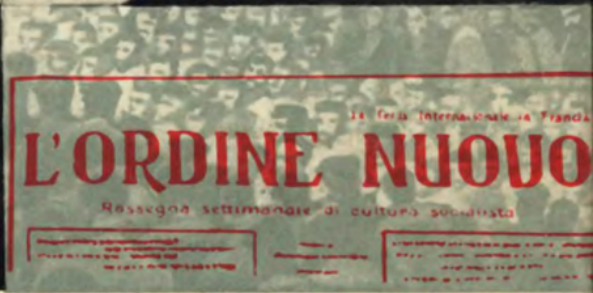
ГРАМШИ

Александр Големба



ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

ГРАМШИ
Александр Големба

ЖЗЛ

SHOUT
SHARE
IT

- Вместо пролога
- Пробуждение
- В Турине
- Университет
- Энрико Ферри, Филиппо Турати, Антонио Лабриола
- Настоящие люди
- В дни войны
- Восстание в Турине
- Капоретто и после
- Фиуме и прочее…
- «Ордине Нуово» — журнал и движение
- Серп и молот на кузове
- В дни «Похода на Рим»
- Депутат от округа Венето
- Дело Маттеотти
- Письма из тревожного Рима
- «Леджи фашистиссиме» — «чрезвычайные законы»
- Поздняя осень двадцать шестого года
- Остров изгнания
- Суд и приговор
- Живучий шиповник
- Клиника доктора Кусумано
- Последние часы
- Основные даты жизни и деятельности Антонио Грамши
- Краткая библиография
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17

- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45

Вместо пролога

Не так уж много воды утекло с тех пор, как Виктор-Эммануил был провозглашен королем Италии. Новое королевство возникло весной 1861 года, а примерно девять лет спустя был взят Рим: впрочем, столицей объединенной Италии он был объявлен еще весной шестьдесят первого года. И вот прошли десятки лет, а единство страны во многом остается пока еще единством чисто государственным, юридическим, административным. Италия неоднородна, немонолитна, а подлинное ее объединение, органическое, есть дело грядущего. Италия еще будет сильной, еще станет отечеством народа и для народа, а не чиновничьим государством, раздираемым бесчисленными противоречиями. Он, Антонио Грамши, хотел бы дожить до этих дней, увидеть все это своими глазами. И пусть его активная жизнь была насильственно прервана, пусть он в тюрьме, отгорожен, изолирован от людей и мира. Все равно его не сломить!

«Мы должны на двадцать лет лишить этот мозг возможности работать!» — сказал когда-то государственный обвинитель. Нет, прокурор Изгро не добился своего! Антонио Грамши жив, он мыслит, и раздумья его еще вырвутся из этих неколебимых стен. Недавно он прочел письма Сильвио Спавенты, патриота из Абруцц, депутата неаполитанского парламента. Спавента, по моде тех времен, несколько сентиментальничал. И все-таки ему нельзя отказать в мужестве и выдержке: мятежник из Абруцц пробыл в тюрьме целых одиннадцать лет! Неаполитанская жандармерия изловила Спавенту и взяла его под стражу. Странное дело, но этими жандармами вполне мог командовать его, Антонио Грамши, дед, полковник жандармерии. А теперь он, Антонио, заперт в этих четырех стенах. Он сидит в тюремном замке в Тури, охраняемый карабинерами короля Виктора-Эммануила III, потомка короля Карла-Альберта, современника Спавенты.

Королевство существует вот уже скоро семьдесят лет — привычное, хрестоматийное, с почтовыми марками и церемониальными маршами, с покорными и непокорными парламентариями (а одним из этих строптивых парламентариев был и сам Антонио Грамши), королевство почти реальное, номинальное во всяком случае. Ибо король царствует, но не управляет, а вся государственная власть находится в руках дуче — Бенито Муссолини, человека с иезуитскими глазами и выпирающей нижней челюстью, в прошлом ниспровергателя устоев, социалиста-максималиста, который оказывал немалое

влияние на молоденьких, совсем еще зеленых левых интеллигентов в те дни, когда Грамши был еще студентом Туринского университета. А потом Бенито стал шовинистом. А еще чуть позже он отбросил розовый камуфляж и начал отчаянно преследовать былых товарищей — социалистов. Неплохо сказал о нем старый Серрати; «Муссолини — это кролик, но феноменальный кролик: он умеет рявкать!» Ну, этот рявкающий феномен еще когда-нибудь получит по заслугам. Да, Грамши слаб и болен, силы его надорваны. Но мысль работает по-прежнему четко и ясно. Трезвая, отточенная мысль Антонио Грамши.

Он явился на свет в эпоху, когда кое-кому казалось, что история будет развиваться чрезвычайно медленно. Так думало поколение отцов, пришедшее на смену дедам — инсургентам и конспираторам середины прошлого века. Так думал и Франческо Грамши, человек старого закала, весьма далекий от политики, не слишком-то задумывавшийся над так называемыми «проклятыми вопросами». Франческо Грамши был представителем мало романтического поколения, не революционер и не ретроград, а просто скромнейший обыватель, мелкий служащий, регистратор в медвежьих углах Сардинии, которая и сама была медвежьим углом тогдашней Италии. Франческо Грамши, чиновник, обремененный многочисленным семейством, жил небогато даже и по скромнейшим сардинским понятиям. Предки его были родом с Балкан. Они бежали из Эпира давным-давно, тому уж скоро век… Итак, Франческо тянул свою канцелярскую лямку, не размышляя много ни об истории, ни об искусстве, ни о высокой политике: сперва в Алесе, потом в Гиларце, совсем уж захолустном местечке, хотя и славилась Гиларца удивительно красивыми старинными церквами. Считалось, что время застыло, если не вовсе прекратило свое течение. А в дни, когда оно зашагало в сапогах-скороходах, поколение, к которому принадлежал исполнительный регистратор, уже понемногу сходило с исторической сцены.

«Сардиния — остров, и каждый сардинец — остров на этом острове», — так говорят итальянцы. Множество веков, множество бурь пронеслось над Сардинией, множество племен пыталось насадить здесь свою культуру. Древнейшие обитатели острова были, по-видимому, иберийцы. Но и финикийцы и карфагеняне оставили на нем следы своего пребывания. Римлян сменяли вандалы, вандалов — византийцы. На смену византийцам пришли сарацины. Впрочем, им так и не удалось утвердиться на сардинской земле. Арабов сменили пизанцы и генуэзцы. Потом Сардиния перешла под власть Арагонской династии, в начале XVIII века досталась Австрии, а затем Савойскому дому. И только

уже в 1861 году, с образованием Итальянского королевства, королевство Сардинское (со столицей в Турине, то есть на материке) исчезло с политической карты Европы. Остров был беден до чрезвычайности. Существовала кое-какая промышленность, горная в частности, да еще кустарное ткачество и мелкие промыслы. Основными занятиями жителей острова были земледелие и скотоводство. Овечий сыр **и** шерсть, хлеб и масло — вот главные статьи вывоза.

Антонио Грамши[1] (Антонино, или Нино, как называли его родные и друзья) родился в Алесе, в провинции Кальяри, 23 января 1891 года. Ребенку дали первое имя Антонио, а к нему присовокупили еще имена крестившего его священника и восприемника: Себастьяно и Франческо.

Антонио Грамши, выдающийся деятель международного коммунистического движения, был итальянцем по духу и по языку, но он никогда не переставал чувствовать себя сардинцем, человеком, всем сердцем привязанным к земле, породившей, вспоившей и вскормившей его.

Пробуждение

Антонио сидел на веранде и прилежно рисовал. Рисовал и раскрашивал. Он возился с этой упрямой картинкой уже давно и все никак не мог добиться желаемого совершенства. Это была одна из целой серии картинок, связанных воедино неким сквозным сюжетом; цепь иллюстраций, посвященных невероятным похождениям страшного козла Барбабукко; сей коварный козел внезапно, буквально из-за угла, нападал на своих взрослых недругов или на ребятишек, которые так любили его дразнить; он, этот ужасный козел, заставал их врасплох, бодался отчаянно, словом, зазевавшимся от него здорово влетало.

Антонио так увлекся своим творчеством, что не видел и не слышал, что происходило вокруг него на белом свете.

Внезапно раздавшийся над ухом голос мамы Беппины вернул его к действительности.

— Слушай, Нино, тебе надо учиться дальше, надо поступать в гимназию. Что ты на это скажешь?

Антонио молчал. Ему нечего было возразить, его мечтой было продолжать учение.

Потом он промолвил:

— Но ведь в Гиларце-то нет гимназии? Мама Беппина сказала:

— Пойдешь в гимназию в Сантулуссурджу. Гимназия Карта-Мелони. Это километров восемнадцать отсюда. Мы тебя там пристроим у одной тамошней жительницы — да я тебе о ней как-то рассказывала, — у Джулии Обину, — она еще у доктора служила прежде — и хорошо, и недорого, и люди честнейшие — люди в двадцать четыре карата! Ну, а на каникулы будешь приезжать к нам как маркиз какой-нибудь, а то ведь и пешочком можешь прогуляться; ну, это летом, ты у нас ходок известный, а на рождество — в карете; а я уж тебе таких паннетоне напеку к рождеству — ты любишь паннетоне?!

Да, Антонио обожал сладкие хлебцы — паннетоне и очень сожалел, что есть их полагается только раз в году, а именно в сочельник.

Антонио любил паннетоне и еще нежнее любил свою маму Беппину. И он с огорчением покидал ее, но жизнь брала свое, жизнь звала его, она не стояла на месте, и надо было вступать в нее во всеоружии.

Мясник Таниэлле отдал своего отпрыска в гимназию, и все другие деревенские богачи поотдавали туда своих ребят, и конторщику Франческо Грамши никак нельзя было отставать от

них.

Франческо Грамши, уж к слову будь сказано, претерпел в эти годы множество всяческих неприятностей и передряг, пострадал от нежданной ревизии и лишился службы, обвиненный (несправедливо, как оказалось впоследствии) в халатности, недостачах и прочих чиновничьих прегрешениях. Недостача была мизерная, но бедный синьор Грамши все-таки угодил под суд и несколько лет даже пробыл в заключении. Мама Беппина скрывала от детей отцовские несчастья: ну, от старшего — Дженнаро — уже ничего было скрыть невозможно, а вот младших она уверяла, что папа Франческо поехал проведать бабушку Терезу… Скрывалось это и от бабушки Терезы — письма свои к ней Франческо посылал сперва жене, и та опускала их в Гиларце гиларцского штемпеля ради…

В трудные годы Антонио пришлось на время бросить ученье. Он стал работать в канцелярии, был курьером.

Одиннадцати лет от роду он уже таскал тяжеленные конторские книги, пыльные конторские книги. Антонио получал тогда целых девять лир в месяц (правда, этой суммы могло хватить лишь на кило хлеба в день), а ведь работать приходилось по девять часов в сутки, каждый божий день и еще в воскресенье утром в придачу. А эти проклятые фолианты весили, наверно, больше, чем он сам! У него болело все тело, и по ночам он украдкой плакал.

Потом Франческо вернулся. Он постарел и осунулся, но старался не терять бодрости. Дети подросли. Мама Беппина его ни в чем не упрекнула. А ведь ей пришлось нелегко — одна она кормила семерых!

С возвращением отца стало немного легче, семейство Грамши воспрянуло духом. Антонио получил возможность заняться обычными ребячьими делами, ловить птиц, рисовать и, конечно же, читать, читать запоем. Наконец решено было определить Антонио в гимназию.

В Сантулуссурджу Антонио поселился в доме Джулии Обину, у тех самых честнейших людей, людей в 24 карата, причем платил он всего только пять лир в месяц за квартиру, постельное белье и за приготовление пищи, правду сказать, более чем скромной. Пять лир в месяц — это и по тем временам было сказочно дешево!

У квартирной хозяйки была старушка мать, что и говорить, немного придурковатая, но не сумасшедшая, о нет, отнюдь не сумасшедшая!

Старуха эта и стряпала и ухаживала за постояльцем-гимназистом, но каждое утро, едва завидя Антонио, она самым

серьезным образом осведомлялась у него, кто он такой и как это случилось, что он ночевал у них в доме.

Антонио объяснял как мог, и старушка успокаивалась и как ни в чем не бывало принималась за стряпню.

Дочь явно хотела избавиться от матери, она спала и видела, чтобы муниципалитет отправил ее мамашу в приют для душевнобольных, и посему хозяйка обращалась со своей родительницей весьма и весьма неласково. Должно быть, ей хотелось своей грубостью вызвать какой-нибудь эксцесс, чтобы можно было потом объявить старуху опасной. А кроткая старушка неизменно повторяла дочери, которая была с ней по сельскому обычаю на «вы»: «Говори мне уж «ты», доченька, да только обращайся со мной по-человечески!»

Это «обращаться с людьми по-человечески» Антонио запомнил на всю жизнь.

Сохранилась групповая фотография гимназических времен. Это, видимо, фрагмент снимка: солидный, в преклонных летах наставник, лысый, с густыми усами, а рядом — четыре паренька лет по пятнадцати, в гимназической форме.

Тот, что сидит рядом с педагогом, сильно сутулится, почти горбится; глаза у него живые и удивительно умные — это и есть Антонио Грамши.

В Сантулуссурджу Антонио стал учиться всерьез, привыкать к самостоятельной жизни.

Антонио был неутомимым охотником за ящерицами и ужами. Однажды он даже чуть было не изловил удивительное пресмыкающееся, что-то вроде змеи с короткими лапками. По поводу этого странного создания разыгралась целая дискуссия среди гимназистов в Сантулуссурджу. Ученики считали, что Антонио прав и что такое животное есть, им самим не раз случалось видеть его, и они называли его «колору». Антонио считал, что это скурцоне, но учитель естествознания только рассмеялся и сказал, что скурцоне — животное фантастическое, не то аспид, не то василиск, и ничего подобного в наших краях-де не водится!

Гимназисты поддержали Антонио, хотя его скурцоне, судя по описанию, несколько отличался от их колору. Но педагог с апломбом заявил, что это все деревенские россказни и что гадюк с лапками не бывает.

И хотя авторитет учителя стоял весьма высоко, Антонио впервые в жизни усомнился в справедливости этих слов. Впоследствии ему не раз приходилось подвергать сомнению, казалось бы, общепризнанные авторитеты.

Гимназия окончена. Приходится думать о продолжении

образования. Способному мальчугану сам бог, как говорится, велел идти по ученой части, и, хотя средства его семьи более чем ограниченны, родители решили определить его в лицей «Карло Деттори» в Кальяри, главном городе Сардинии.

В 1908 году Антонио перебрался в Кальяри. После сонной Гиларцы оживленный Кальяри показался ему настоящей столицей. В городе выходили три ежедневные газеты — «Ль'унионе Сарда», «Иль Паэзе» и клерикальная «Коррьере делль изола». Выходил и социалистический еженедельник «Ла Воче дель пополо». По вечерам гостеприимно распахивались двери иллюзионов (то есть кинотеатров) «Ирис» и «Эден». Здесь можно было посмотреть похождения Рокамболя, поплакать вместе с «Отверженными». Театры, лекции, концерты — все это было внове для Антонио, юного провинциала. Впервые Нино Грамши жил на чужой стороне — они с братом Дженнаро, счетоводом фабрики братьев Марцулло, снимали комнатушку в доме № 24 по улице принца Амедея. Жилось им несладко. Единственным источником существования было жалованье Дженнаро — сто лир в месяц. Питались они в траттории на пьяцца дель Кармине.

Среди лицеистов — модников и щеголей Антонио на первых порах чувствовал себя неважно. Нет, он совсем не щеголь — на нем коротковатые брюки и потертый пиджак, пальто у него нет, в холодные дни воротник пиджака поднят и горло обмотано шарфом, к счастью, шерстяным!

Да, он не мог блеснуть нарядом. Но его сильный ум и великолепная память привлекли сердца педагогов. И вскоре лицейские преподаватели обратили на него самое серьезное внимание.

После первого же года обучения в лицее Антонио больше не изучал математики, а выбрал греческий (тогда существовала система выбора). И все же на третьем курсе лицея юноша неожиданно доказал, что у него еще сохранились изрядные способности к точным наукам. Для изучения физики понадобилось знание основ математики. Преподавателю физики чрезвычайно нравилось ставить лицеистов в тупик, это его явно развлекало! На последнем зачете третьего семестра он вызвал Антонио к доске, задал ему несколько вопросов по физике, связанных с математикой, и предупредил, что от того, как ответит лицеист Грамши Антонио, зависит средняя годовая отметка и, стало быть, получение аттестата.

Антонио провозился у доски целых полчаса, перемазался мелом, все искал решение— пробовал раз, другой, писал, стирал и, наконец, придумал, именно придумал, решение, которое физик оценил как отличное, хотя, а может быть, именно потому, что

решения этого не существовало ни в одном учебнике!

Преподаватель этот, Франческо Маккароне, был в приятельских отношениях со старшим братом Антонио — Дженнаро и считал возможным обращаться с лицеистом Грамши вполне фамильярно. Он изводил юношу своими шутками и насмешками на протяжении нескольких лет, которые Антонио провел в стенах лицея «Карло Деттори», он с ухмылкой называл его «огрекосившимся физикусом». Но Антонио нисколько не обижался. Впрочем, это и понятно: к тому времени у него появились новые интересы, уводившие его помыслы вдаль от замазанной мелом классной доски. Кругозор его расширился: уже не Гиларца только была у него перед глазами, и даже не Сантулуссурджу, и не Кальяри. Его стали занимать судьбы всего острова, всей Сардинии. Физик Франческо Маккароне, воинствующий социалист и антиклерикал, преподаватель итальянского языка и журналист Раффа Гарсиа, преподаватель древних языков Костанте Оддоне — вот люди, содействовавшие пробуждению юного Грамши.

Лицеисты порою собирались у Антонио. Они распевали народные сардинские песни, а Антонио аккомпанировал им на концертино. Вытащить из дому его было нелегко. «Пойдем с нами, Антоникедду», — звали его лицеисты. Иногда он соблазнялся и выходил. Шло вечернее гулянье — **ла пассилада,** школяры чинно шествовали мимо кондитерской Клаво и кафе Трамер, — души их рвались к заветным дверям Су Кау, бильярдной на Корсо. Вот у этих дверей Антонио вежливо раскланивался со своими легкомысленными друзьями и шел домой.

В эти годы Антонио впервые заинтересовался общественной жизнью. Стал посещать кружки левого толка, в частности примкнул к кружку молодежи, носившему название **«Антиклерикальная ассоциация авангарда».** Члены этого кружка собирались на виа Барселона, неподалеку от лицея «Карло Деттори». Здесь, в Антиклерикальной ассоциации, отмечали память Джордано Бруно, здесь спорили и шумели до зари.

Преподаватель итальянского, уже упомянутый выше Раффа Гарсиа, человек внешне суховатый, но внутренне пылкий, не раз уже читывал в классе сочинения своего необыкновенного питомца. Потом он предложил ему сотрудничать в газете «Ль'Унионе Сарда», весьма распространенной на острове. А Дженнаро Грамши свел младшего брата с лидерами сардинских социалистов: Каваллера, Баттелли, Пеши. Познакомил его Дженнаро и с деятельностью местной Палаты труда, кассиром коей он, кстати сказать, состоял. Еще в Кальяри Антонио начал

читать Маркса во французских переводах — «из умственного любопытства», как он признался в одном письме много лет спустя.

Однажды к Антонио обратился один из товарищей по кружку. Он хотел узнать его мнение о творчестве молодых сардинских писателей. Спрашивающий, зная патриотические настроения Антонио, не сомневался в том, что и молодому Грамши их новеллы непременно должны нравиться. К великому его удивлению, Антонио отозвался о них более чем сдержанно.

— Сардиния наших дней, — сказал он, — это не только пляски до упаду да романтические смертоубийства. Нынешние авторы — сарды далеки от живых запросов современности!

И он заговорил об условиях жизни на острове и о рудокопах, которые трудятся под землей, на глубине в несколько сот метров ради обогащения бельгийских и французских капиталистов: нет у этих рудокопов ни санаториев, ни школ, нет зачастую даже крыши над головой — есть только вмешательство войск при первой попытке протеста.

Итак, юный лицеист Антонио Грамши не находил ничего занятного в пикантно-мрачноватых по колориту образах тогдашней сардинской прозы.

Поначалу двигателем его помыслов и поступков было попросту оскорбленное национальное достоинство. Чиновники из северных районов Италии считали южан гражданами второго сорта и весьма нелестно о них отзывались. Они рассматривали перевод на Сардинию как слегка завуалированную ссылку. Был случай, когда приезжий служака нелестно отозвался о цвете сардинского неба и о добродетелях сардинских женщин.

Два сардинских синьора немедленно вызвали его на дуэль. И Антонио полагал, что они правы.

Но и социалистическая агитация имела некоторый успех на Сардинии. Еще в 1904 году произошла стачка в Буджерру. И пока социалисты Каваллеро и Баттелли вели переговоры с директором французской компании «Мальфидано», войска, вызванные в Буджерру блюстителями порядка, стали стрелять в толпу забастовщиков. Трое горняков погибли, одиннадцать были ранены. Это была первая кровь, пролитая в классовых боях на острове. А спустя два года в разных местах Сардинии состоялись демонстрации. Они опять-таки были подавлены военной силой. Вновь были убитые и раненые.

Все это происходило в те годы, когда Антонио Грамши, пусть еще подросток, мог уже с возрастающей сознательностью воспринимать все, что вокруг него творилось.

Еще до полного осознания себя и своего времени Грамши

инстинктивно тянулся к социализму. Еще шестнадцати-семнадцатилетним подростком Грамши с живейшим интересом читал социалистическую литературу. Читал внимательно. Но мятущейся натуре юного Грамши научный социализм еще был тогда, по всей вероятности, чужд. Он искал путей к какому-то немедленному, сиюминутному действию. И внимание его привлекали приверженцы сардинского возрождения, страстного и сентиментального сардинского патриотизма. Он интересовался автономистским движением на Сардинии — основателем этого движения был Умберто Као, издатель ежедневной газеты «Иль Паэзе», впоследствии далеко отошедший от революционных увлечений молодости… Однако сардинский патриотизм сочетался у юного Грамши с широкими социалистическими симпатиями: он перечитал целый ворох самых радикальных социалистических брошюр. Читал «Аванти!»; сестра его Терезина уверяла много лет спустя, что он даже подписался на этот пламенный социалистический орган еще в Гиларце и всегда выбегал, заслышав шаги почтальона, чтобы перехватить газету и не попасться с ней на глаза отцу. Отец держался совсем иных взглядов, никоим образом не социалистических.[2]

В эти свои лицейские годы Антонио не только читал. 26 июля 1910 года Раффа Гарсиа в «Ль'Унионе Сарда» поместил заметку, написанную Грамши. В ней всего двадцать пять строк, и подписана она «джи» — даже не заглавными, а скромнейшими строчными буквами. Это первая публикация Грамши, корреспонденция, присланная им во время каникул из родных мест. Описываются выборы в Айдомаджоре — селении по соседству с Гиларцей. Выборы с применением военной силы; сорок пехотинцев и сорок карабинеров присутствовали при вскрытии урн во избежание беспорядков. Только что пушек не было!

Крохотная заметка завершается остроумной концовкой: для бедных виноградарей Айдомаджоре пехотинцы хуже филлоксеры! Впрочем, в каникулярную пору лицеист Грамши Антонио занимался не только журналистикой. Он трудился и летом, чтобы помочь семье. Давал частные уроки, брал на дом счетную работу.

А время не останавливалось, дни мелькали, как кинокадры на экране в иллюзионе «Эден». Особенно запомнились те дни, когда Сардинию навещала королевская чета. Дымила нарядная яхта «Тринакрия», и под возгласы «ура» его величество Виктор-Эммануил III закладывал первый камень городской ночлежки, а супруга его жертвовала 2800 лир на сласти приютским ребятишкам… Обыватели Кальяри ликовали беспредельно, а газетчики левого направления проявляли известную

сдержанность, сдержанность, переходящую в оскорбление величества. Раффа Гарсиа написал даже, что единственная цель королевского визита — пустить пыль в глаза, заморочить головы простакам.

Наступила осень. 30 сентября 1911 года Антонио Грамши окончил лицей «Карло Детторе». Ему уже двадцать. Слабое здоровье не позволило ему вовремя завершить занятия. Теперь во что бы то ни стало надо наверстать упущенное, учиться дальше. Антонио жаждет изучать словесность, филологию. Но как осуществить это заветное желание? Семья его весьма и весьма небогата. Фактически только он, Антонио, и старший брат его Дженнаро выбились на дорогу. Младшие братья — Марио и Карло и сестры нуждаются еще в родительской поддержке. Нет, семья едва ли сможет оказать ему серьезную помощь. Конечно, он получал в лицее самые высокие баллы, и тем не менее не закрыт ли перед ним путь к дальнейшему образованию?

Что же ему было теперь делать? Поступить в университет? Но на это нужны деньги, куча денег. Впрочем, есть ведь в Туринском университете стипендия имени короля Карла-Альберта. Стипендия для провинциалов, жителей бывшего Сардинского королевства. Только надо принять участие в конкурсе на ее получение. Ну что ж, он поедет в Турин, будет участвовать в конкурсе и получит, непременно получит эту вожделенную стипендию! Итак, решение принято, а он не привык отступать от своих решений!

В Турине

В старом Турине взрослые играют в тресетте, а сыновья их в липпа — нечто вроде российской лапты. В старом Турине, вернее за городской чертой, есть холм, называется он Суперга, и на том холме воздвигнута церковь — усыпальница королей Италии. Зеваки торчат у парапета набережной, огромные неуклюжие баржи медленно спускаются по течению. В старом Турине есть и стадион, где сражаются соперничающие команды — красные и голубые. Любители спортивных поединков толпятся у решетки — они делают ставки — за и против. Выигрывают редко, но, может быть, именно поэтому все и настроены на столь азартный лад. Богатые ходят в кафе «Борджиа». Кто победнее — в «Молинари». А совсем уж бедные влюбленные садятся на трамвай и катят себе к воротам парка «Валентино», а оттуда — уже пешком — на заветную «Аллею Вздохов». Магазины в Турине солидные, витрины их по ночам забраны тяжелыми несокрушимыми жалюзи. Множество доходных пяти- и шестиэтажных домов с неизбежными мансардами. А потом жилые кварталы кончаются, начинаются заводы, весь город опоясан частоколом закопченных кирпичных труб. Старый Турин, университетский город и колыбель «Салезианы» — семинарии ордена святого Франциска Салезского, — окружен фабричными корпусами. Вот по этому городу медленно, вразвалочку бродит приземистый большеголовый молодой человек. Одет он более чем скромно, у него живые и кроткие глаза, но во взоре его немало скрытой, глубоко затаенной горечи. Он близорук, почти не замечает окружающих, кажется погруженным в свои мысли. Вот он остановился у витрины книжной лавки, потом еще у одной. Жадно рассматривает книги, но, кажется, они ему не по карману. Птичьи лавки (а их немало под портиками одной из главных туринских улиц) также привлекают его пристальнейшее внимание. Это явно приезжий, явно прибывший издалека. Он входит в «Латтериа Миланезе» — «Миланскую молочную», заказывает макароны и омлет; выговор у него тоже нездешний, в Пьемонте говорят не так. Задумавшись, сидит он за мраморным столиком «Миланской молочной». Трудно сказать, о чем именно он думает сейчас, в этот вот миг, но зато мы уже узнали его — конечно же, это он, Антонио Грамши, сардинец, сард; он совсем недавно перебрался в этот старинный, уютный и гостеприимный город.

Турин, былая столица Пьемонта, а ныне провинциальный город, начинает превращаться в индустриальный центр, и не

просто в индустриальный центр — в подлинную столицу итальянского рабочего движения.

Объединенная Италия существует уже пятьдесят лет. Но единство это чиновничье, административное. Страна вовсе не едина по своей экономической структуре, да, более того, она не едина даже и этнически: итальянский народ изъясняется на диалектах, зачастую чрезвычайно далеких друг от друга и, уж во всяком случае, весьма далеких от благозвучного и благообразного литературного языка.

Северянин не понимает южанина, да, по правде сказать, и не очень хочет понимать.

На севере Италии давным-давно укоренился взгляд, согласно которому южане — это люди какой-то иной нации, люди совсем иного облика и психического склада, чем выдержанные и воспитанные северяне.

Италия — это прежде всего Ломбардия. Неаполь — это уже другой мир, а южнее Неаполя идет нечто абсолютно непостижимое для просвещенного северянина: суеверия, нищета, закостеневшие феодальные отношения между землевладельцами и крестьянином-арендатором, испольщиком или вовсе батраком. А север, высокоразвитый, высококультурный север, живет не в прошлом, он живет в новом, двадцатом, веке и преотлично чувствует себя в этом столь расторопном и столь многообещающем столетии.

Итальянцы настроены благодушно и в высшей степени оптимистически. По случаю пятидесятилетия объединения Италии в Риме и Турине устраиваются международные выставки — своего рода апофеозы официального оптимизма, зримые проявления долженствующего существовать благоденствия!

О, эти павильоны! Они завалены «национальными продуктами» — произведениями отечественной промышленности. Промышленность эта растет и крепнет, она набирается сил, она вся в поисках рынков, где бы то ни было и любой ценой! — рынок на Балканах и на Ближнем Востоке.

Но на Балканах Италии трудно бороться с германской и австрийской торговой экспансией. Немцы бьют Италию: они продают дешево, и товары их выше по качеству.

Но есть еще Африка, есть Киренаика, ливийское побережье, Триполитания — не рвануться ли туда?

Павильоны Туринской выставки посетило 216 тысяч человек. Среди этих 216 тысяч был, конечно, и туринский студент Антонио Грамши, недавний лицеист из Кальяри.

Антонио видел, что северу во всем принадлежит решающее слово, что именно север главенствует ***в*** стране.

Что же, неужели между севером и югом страны вовсе нет никаких противоречий? Нет никаких противоречий! — таков был ответ Международной выставки, таков был подтекст, всплывающий за всей пестротой и разнообразием выставочных павильонов.

А противоречия были все же налицо, **и** студент Грамши нисколько не сомневался в их реальности и подлинности.

И, желая в них разобраться поглубже, он внимательно проштудировал опубликованное для всеобщего сведения заключение парламентской комиссии. Комиссия эта обследовала положение дел на юге полуострова и в Сицилии. Сардиния не обследовалась, но Антонио знал, что все, что относится ***к*** Сицилии, может быть применено **и** к его родине, даже с небольшой поправкой в худшую сторону.

И от чтения всех этих отчаянных и вопиющих отчетов оставалось явное чувство горечи. По-видимому, начинать следовало с ликвидации феодальных отношений, но об этом в те давние годы не решались писать с полной откровенностью даже наиболее отважные публицисты.

В статьях своих они давали нечто вроде обзора экономических проблем, а вывод предоставляли проницательности и решимости читателя.

Десятые годы в Италии — это годы подъема рабочего движения. Почти полмиллиона человек объединила в своих рядах Конфедерация труда. А ведь, кроме нее, возникали еще чисто синдикалистские организации — синдикалистские лиги; они при каждом удобном случае начинали забастовки, бурные забастовки, иногда успешные, а иногда завершавшиеся провалом. Особое внимание Грамши привлекла хорошо организованная стачка металлистов в Турине.

Массы уже нельзя было сбросить со счетов, **и** умнейшие из буржуазных политиков понимали это.

Тогдашний премьер Джованни Джолитти заявил в парламенте о необходимости введения всеобщего избирательного права. Практически это означало, что выбирать будут уже не три **с** половиной миллиона человек, а примерно девять миллионов человек.

Следовательно, на политическую арену выйдут массы, отсталые, темные, во всем подчиняющиеся священнослужителям. И голоса, их будут содействовать провалу социалистов. Социалисты против колониальных войн вообще, и уж во всяком случае, против войны в Ливии, неизбежность которой ни для кого не была секретом. Но если провести в парламенте закон о государственном страховании, он должен выбить почву из-под

ног у социалистов. Джолитти покажет простому народу, что способен печься о нуждах его не хуже, чем они! Он будет их бить их же оружием!

Так думал Джолитти. Все его реформы были затеяны в интересах крупной буржуазии, но они, как оказалось впоследствии, имели еще и побочное действие: политическая жизнь Италии выходит с этого момента из ранее присущих ей рамок, она перестает быть игрой верхов — все более широкие массы вступают на арену политической жизни. Хотел ли этого Джованни Джолитти весной 1911 года, когда он вносил в парламент свой знаменитый законопроект? Едва ли! Но дело уже сделано. Удар по социалистам нанесен, путь был расчищен и открыт. 20 сентября 1911 года министр иностранных дел граф Сан-Джулиано вручил турецкому правительству итальянский ультиматум. Начинается война за захват Триполитании и Киренаики. Это первое потрясение, первый крупный конфликт из целой серии международных конфликтов, которые приведут к мировой войне. Что ж, войну в Африке готовили давно. Общественное мнение обрабатывалось с редкой старательностью. Денег не жалели. Деньгами правительство Джолитти снабжал всем известный «Банко ди Рома». Но одними деньгами всего не сделаешь. Нужны были еще пылкие приверженцы военной политики, неофиты колониализма. И такие нашлись — спрос рождает предложение, и ретивые адепты жесткого курса немедленно выступили на авансцену.

На задний план отступили старинные требования — возвращение в лоно отечества Триеста и Тренто — районов, где население говорило по-итальянски. Студенты демонстрировали перед зданием университета, они требовали завоевания Триполи.

Триполи, отныне ты с нами!
Эта песнь пусть звенит серебром,
Пусть взовьется трехцветное знамя
Над тобою под пушечный гром!

— пели они во всю мощь своих юных легких. Предполагалось, что итальянским солдатам предстоит небольшая военная прогулка, прогулка, не более того! А Триполитания богата, бесконечно богата, и не только одной пшеницей, там есть и бананы и финики, и, кроме того, арабы ждут не дождутся, когда прибудут корабли с итальянцами-освободителями, которые снимут с плеч своих младших братьев тягостное бремя турецкого ига и приобщат их к сладостным плодам древней латинской культуры.

Но шовинисты в обязательном порядке должны были кого-то бить, чтобы их пламенные чувства претворились в дела. Расплачиваться пришлось обитающим в Италии туркам и своим итальянским социалистам.

Ну, туркам — это понятно. Турок били за то, что они якобы угнетали несчастных триполитанцев. Вполне возможно, однако, что те турецкие коммерсанты, которые проживали в незначительном числе в итальянских городах, и не были персонально повинны в угнетении жителей Триполи. А вот социалистов, по мнению пылких приверженцев национальной идеи, обвиняли за дело. Эти упрямые социалисты почему-то никак не хотели соглашаться, что у Италии нет никакого иного выхода, кроме войны!

Турок пронять было не слишком трудно, их магазины и дома были вскорости разгромлены. Труднее было найти управу на социалистов. Их стали хватать на улицах, сажать в тюрьмы и отдавать под суд. Судьи отлично понимали, в чем состоит их долг, и не миндальничали.

Жизнь била ключом. На улицах Турина гремела военная музыка.

«Триполитанский марш» рвал воздух в клочья. Солдаты четко отбивали шаг, вид у них был скорее праздничный, и все-таки население отнюдь не ликовало.

И кое-кто уже даже и называл социалистов «турками», так оно и короче и выразительней. Вообще-то говоря, социалистические взгляды, социалистическая сознательность были присущи рабочим крупнейших заводов Турина, во всяком случае очень многих из них. Туринские ремесленники были куда менее развиты, круг их интересов ограничивался скачками, «банко-лото» и спортивным тотализатором.

Дискуссии в стенах Туринского университета и на прекрасном его дворике шли очень оживленно.

Студенты забывали обо всем на свете, самые рьяные уже не заглядывали более в университетскую библиотеку, предоставляя ее двумстам тысячам томов пылиться без движения.

Очень многим из студентов гораздо более импонировали новейшие сочинения националистов Энрико Коррадини и Сигеле.

Филолог-первокурсник Антонио Грамши частенько бывал свидетелем и слушателем подобного рода диспутов и дискуссий. По большей части студенты-националисты не утруждали себя приобретением собственных мыслей. Они добросовестно пересказывали целые страницы из Коррадини. Антонио по присущей ему любознательности раздобыл книжонку этого автора. Вышла она в Неаполе в текущем, 1911 году. Коррадини

умел объяснить все на свете. Вот, например, что такое НАЦИЯ.

«Нация, — вещал он, — есть общество близких друг другу людей, имеющее целью удовлетворить инстинкт, с которым родится всякий индивидуум, инстинкт сконцентрировать в своих руках максимум обладания».

Немножко громоздко, немножко малограмотно, но зато напористо. А главное, «инстинкт обладания». Попробуй поспорить с ним! Словом, панацеей от всех бед, от нищеты, от малярии, от кромешной тьмы и невежества оказывался, если верить Коррадини, национализм!

Что же это такое?

«Национализм, — вещал он, — должен быть приведенным в действие, и в таковом своем виде он является империализмом, который инстинктивно был свойствен древнему Риму, Риму завоеваний и властвовании».

Итак, филолог Антонио Грамши выяснил, как обстоят дела с национализмом. И выяснил еще из сочинения Коррадини, что весь мир должен преклониться перед Италией.

«Европа — потому, что Италия дала много, очень много цивилизации, а Америка должна нам быть благодарна за то, что Христофор Колумб открыл ее».

Вот потому-то, из-за этого-то обстоятельства страны Латинской Америки должны заказывать военные корабли и коммерческие суда в Италии, а не в Германии, скажем, и не в Англии, и не в Соединенных Штатах!

Из-за Колумба! Задал им задачу старый Христофор!

Антонио Грамши беззаветно любил Италию, но аргументы Коррадини показались ему малоубедительными.

Впрочем, другой лидер националистов — Сигеле был поутонченней, чем Энрико Коррадини.

Так, например, Сигеле писал, что «основным стимулом действий итальянца является кампанилизм — это словечко означает нечто вроде «способность глядеть на все со своей колокольни» (ведь «кампаниле» и есть «колокольня») — кампанилизм, закрывающий широкие горизонты и делающий из гражданина королевства прежде всего римлянина, миланца, жителя Палермо, туринца, а потом уже итальянца».

И вот по этой причине «патриотизм у итальянцев — спорадический и словесный, а не постоянный и деловой».

Что ж, Антонио не может не согласиться с этой оценкой «кампанилизма», но пренебрежительный тон, которым вещает Сигеле, его несколько коробит.

Он, Антонио Грамши, конечно же, прежде всего сардинец. И Сардиния ему милее всего на свете. Но можно ли добиться ее

пробуждения, можно ли сделать ее процветающей, богатой и счастливой, минуя стадию социалистических преобразований?

Антонио глубоко убежден, что нет, что только социализм, воплощенный в помыслах и деяниях великого множества итальянцев, откуда бы они ни были родом, сможет разрешить все неотложные, все самые наболевшие общенациональные проблемы. Да и что такое итальянский социализм?

«Чисто пролетарское движение? Кто-нибудь, может быть, и думает так! Профессора, доктринеры. А по мне, — думает Антонио, — они, конечно, не правы. Нет, наш итальянский социализм — это ведь и движение ремесленников, движение крестьян, движение всех противников феодализма и клерикализма».

Плохо или хорошо, что это движение имеет такую широкую социальную базу? Скорее хорошо, чем плохо.

Быть может, движение проигрывает в четкости, в определенности, в ясности; может быть, оно не сразу даст свои результаты, быть может, им нелегко будет управлять, но зато постепенно оно захватит, непременно захватит, самые широкие слои пробуждающегося итальянского населения.

Ибо что представляет собой социалистическое движение в Италии?

Оно представляет собой пробуждение и восстание целого народа против угнетения и эксплуатации, не дававших ему житья; оно представляет собой восстание против жандармов, и против сборщиков налогов, и против хозяев и хозяйчиков, против ханжества попов, монахов и монахинь; оно представляет собой восстание не против отдельных лиц — это восстание против государства.

Вот в этом-то и состоит сила социалистического движения, но в этом же, может быть, таится и источник его слабости.

И все-таки движение это зародилось, а теперь уже — в 1911 году — и явно укрепляется; да и пусть ему присущи некие слабости, все равно у него чрезвычайно характерные, весьма характерные, подлинно революционные черты. А временные слабости будут преодолены.

В этом Антонио Грамши, студент-филолог и юный социалист, нисколько не сомневался.

Это было время подъема рабочего движения. Рабочие бастуют; перед туринским вокзалом они опрокидывают трамваи.

Университет

Антонио идет в университет пешком: он должен аккуратно посещать лекции, дабы удостоиться очень высокой средней оценки. Иначе ему не видать стипендии, и пускай эти семьдесят лир представляют собой чрезвычайно скромную сумму, больше ему не на что рассчитывать. Вот разве что отец иногда высылает лир по пятнадцать-двадцать. Но этим все и ограничивается. Несколько лет спустя, будучи уже известным журналистом, Антонио, в одной из своих статей сделал следующее полушутливое признание: «Найдите в Турине трактир с полным пансионом, где вы могли бы есть и спать, стирать и гладить белье за 90 лир в месяц! И если вы нашли такое место и заработали эти 90 лир, вам нужны еще деньжата, чтобы платить за одежду. А ведь бывают нужны еще и другие вещи — и впрямь не единым хлебом жив человек!»

И Антонио бегает по урокам, которые устроил ему профессор Космо. По-видимому, Умберто Космо порою и ссужал деньги ему и другим нуждающимся студентам, выручая их в минуту жизни трудную. А этих трудных минут в существовании небогатых туринских студентов бывало предостаточно. И все-таки манкировать лекциями не полагалось. На них полагалось присутствовать по возможности всем, и уж во всяком случае стипендиатам.

Впрочем, лекции туринских профессоров и сами по себе весьма интересны. И Антонио внимательно слушает лекции Родольфо Ренье, филолога-классика Этторе Стампини и (ведь он всегда восхищался творениями Данте!) лекции глубокого исследователя творчества великого флорентийца — все того же прекраснодушного Умберто Космо.

Вот что рассказывал впоследствии друг и соратник Антонио Грамши — Пальмиро Тольятти:

«Особенно памятна мне аудитория на первом этаже, во дворе, налево от входа, где встречались мы, студенты всех факультетов и самых различных направлений, объединенные общим стремлением определить свой жизненный путь. Там великий ум — Артуро Фаринелли читал и комментировал классиков немецкого романтизма. Его лекции оставляли впечатление чего-то вулканического; медленно, приглушенным голосом произносимые выдержки из литературных исследований вдруг прерывались, как вспышками пламени, огнем его вдохновенной мысли. В эти минуты он поворачивал голову влево, в сторону окна, к проникавшему оттуда свету, и тогда улыбка и прядь

вьющихся волос, обрамлявших лоб, придавали его голове странный вид, как будто не то ангельское, не то дьявольское создание указывало нам путь.

Он нам внушал новую мораль, высшим законом которой была предельная искренность с самим собой, отказ от всяких предрассудков, самоотверженное служение делу, которому посвящается вся жизнь. Грамши, его ученик, был верен этой морали. Но я встречал Грамши и на других лекциях, почти на всех, где читал профессор, способный осветить нам ряд существенных проблем… Помню Грамши, внимательно слушающего курс лекций ставшего впоследствии знаменитым Франческо Руффини, который обосновывал новую концепцию отношений между церковью и государством».

Интереснейший курс лекций по истории искусства прочел в 1912 году, на втором году пребывания Антонио в Туринском университете, профессор Тоэска.

Лекции профессора Тоэски запомнились Грамши, и много лет спустя он вспоминал о них в своих письмах.

Конечно, не все туринские профессора были знатоками своего предмета. Среди них попадались и люди поверхностные, а порой и просто оригиналы, чтобы не сказать резче… Среди этих последних забавнее всего был довольно широко известный в те годы профессор Акилле Лориа.

Но однажды Акилле Лориа поразил воображение всех.

В журнале «Рассенья контемпоранеа» — «Современное обозрение» — от 1 января 1910 года он (а может быть, это была только милая новогодняя шутка?!) обнародовал статью под заглавием «Социальное влияние авиации (действительность и фантазия)». Было это еще до поступления Грамши в университет, но статья эта сделалась притчей во языцех и ходила по рукам, и кто-то из университетских шутников и остроумцев, давясь от смеха, умолял Антонио во что бы то ни стало ознакомиться с ней. И Антонио ознакомился.

Профессор излагал теорию освобождения рабочего класса от гнета заработной платы и фабричного труда. Осуществить это, по его словам, было весьма несложно. Стоило только понастроить побольше аэропланов…

И смазать их каким-нибудь клейким веществом… И пусть летают!

К аэропланам этим будут прилипать птицы, и каждый пролетарий сможет питаться дичью, и, стало быть, все проклятые социальные вопросы будут решены самым быстрым и самым удовлетворительным образом!

Журнал этот Антонио потом долго искал у туринских

букинистов. В конце концов нашел. И долго хранил его.

Студент Антонио Грамши имел, естественно, свои научные пристрастия. Его чрезвычайно занимали проблемы языкознания, да и профессор, читавший курс языкознания, знаменитый Маттео Бартоли, итальянец, родом из Далмации, по всей вероятности, немного славянин, очень полюбил талантливого студента и предрекал ему великое будущее. И до какого-то мгновения Антонио и впрямь думал, что его единственным жизненным призванием является чистая наука; что ему надлежит, как надеялся профессор Бартоли, «сокрушить неограмматиков» или совершить какой-либо иной, но сугубо кабинетный подвиг.

Жизнь решила иначе. Как мы знаем, уже в лицее, в Кальяри, Ангонио, начав с популярных писаний Томазо Моничелли и трудов одного из первых итальянских марксистов, Антонио Лабриолы, постепенно переходил к более сложным трудам. Он пробовал читать Маркса (во французском переводе).

Поначалу он отнюдь не собирался углубиться в изучение социальных наук, но потом неопровержимая логика марксизма захватила его.

О, конечно, в Кальяри, хотя он и успел установить там связь ***с*** местной Палатой труда и, более того, с местной секцией социалистической партии, хотя он и был знаком с местными социалистами и внимательно присматривался к их деятельности, он в эти его лицейские времена еще далеко не определился.

Он только искал выхода. Но, быть может, изучение социальных наук вызвало в нем интерес к правоведению. Вот почему Антонио, стал ходить на лекции профессора Паккиони. Впрочем, это были не всегда лекции.

Профессор Паккиони был приверженцем новых методов преподавания. И часто он вместо сухих чтений устраивал диспуты между студентами, а сам посиживал в кресле, время от времени бросая короткие, но меткие, почти исчерпывающие реплики. Конечно, диспуты эти были посвящены темам, которые он давал на исследование своим ученикам.

Одним из этих учеников был Пальмиро Тольятти, невысокий, худощавый, с острым и проницательным взглядом. Тема дискуссии, на которой присутствовал Грамши, была довольно далека от современности: это был разбор римских законов «XII таблиц». Тольятти отстаивал их подлинность. Видимо, он изрядно подготовился к дискуссии, каждое его слово было солидно, документально обосновано и, кстати сказать, подано в очень живой и доходчивой форме. Антонио заслушался и остался до конца диспута. Теперь ему вспомнилось, где он впервые видел студента Тольятти. Это было во время экзаменов на стипендию

для студентов-провинциалов. Там Пальмиро Тольятти, тоже выпускник одного из сардинских лицеев, занял второе место. Грамши занял седьмое.

Антонио и Пальмиро приветливо поздоровались. Знакомство было возобновлено. Так начались их дружеские беседы.

Нередко они проходили вне стен университетского здания, во время загородных прогулок, почти всегда пеших: Антонио, болезненный и слабый с виду, был неутомимым ходоком. Он приохотил и Тольятти к подобного рода экскурсиям.

Грамши и Тольятти резко выделялись на фоне прочей студенческой массы. Туринские студенты, как правило, не отличались особой серьезностью, они не слишком склонны были утруждать себя, развлекались как могли и лишь в самом конце семестра, перед самой сессией, нехотя усаживались за книжки. И социальные вопросы их не слишком занимали. И даже их порою весьма пылкий национализм был, по всей вероятности, в основном данью моде. А Грамши и Тольятти занимались науками всерьез и никаких поблажек себе не давали, учиться так учиться!

Многие студенты поначалу полагали, что Антонио и Пальмиро ведут беседы на какие-то чуть ли не религиозные темы. Но это оказалось не так. И когда какой-нибудь любитель религиозных споров (а были в университете и такие) пытался втянуть их в сферу своих интересов, они с полной откровенностью признавались, что подобные вопросы их нисколько не занимают.

Эти необычайно серьезные и непривычно вдумчивые студенты интересовались чисто конкретными вопросами — они ревностно изучали политическую и экономическую жизнь Италии, к тому же не слишком отдаленного прошлого; углублялись во все эти проблемы, считая, видимо, что знание политических и экономических деталей, тонкостей и подробностей, бесспорно, еще пригодится им в не столь уж отдаленном будущем. Жизнь выдвигала перед ними вопросы, требующие немедленного и недвусмысленного разрешения, а на эти вопросы адепты традиционной науки никак не могли ответить.

А новейшие идеалистические теории, очень ловко изложенные и привлекательно приодетые, либо вовсе уклонялись от решения этих проклятых вопросов, либо давали на них ответы совершенно неприемлемые и ничего не разъясняющие. По-видимому, разрешение всех этих вопросов было не по плечу жрецам официальной науки.

Тут-то и проявился несравненный аналитический склад ума, присущий студенту Антонио Грамши. Он не теоретизировал, не

умствовал, нет, его представления о жизни народа не были вычитаны из книг, он знал эту жизнь, он имел о ней самое точное, самое исчерпывающее представление!

Уже в юные свои годы Грамши проявлял жгучий интерес к социальным проблемам. Туринский университет предоставил ему возможность их углубленного изучения. И молодой Антонио с пылом принялся за изучение всех сторон общественной жизни современной ему Италии.

Туринский университет был весьма незаурядной и весьма солидной школой; и в эти годы именно и была заложена основа энциклопедических знаний, поражавших впоследствии всех, кто был знаком с Антонио Грамши.

И если туринские профессора и не могли подсказать Антонио пути разрешения всех тех жгучих проблем современности, которые волновали его, юного сардинского бунтаря, то они научили его величайшей добросовестности в делах науки и привили ему живейшую склонность к научному исследованию. Итак, Антонио почерпнул в эти свои студенческие годы очень и очень многое. И годы эти были годами истинного подвига, периодом жизни не менее самоотверженным и героическим, чем многие из последующих лет. Потому, что Антонио жестоко страдал не только от бедности!

Он постоянно чувствовал недомогание: «вот уже по крайней мере три года, как меня ежедневно мучат головная боль и головокружение», — пишет он одной из своих сестер. И все-таки он не сдается, он не может поддаться недугам и слабостям, он должен, стиснув зубы, трудиться, упорно работать, работать во что бы то ни стало, ибо он должен жить и овладевать знаниями.

От природы он отнюдь не был педантом и аккуратистом. Но он выработал в себе систематичность, точность и четкость в научном исследовании.

Крохотная его комнатушка (на верхнем этаже в доме по пьяцца Карлина, 8) была загромождена не только книгами — чуть ли не под потолок вздымались картотечные ящики, он заносил на карточки самое интересное из прочитанного им, ничто не должно было исчезнуть втуне.

Научные занятия увлекали его, и, однако, он не чувствовал, что делает то, что нужно, что путь, на который он вступает теперь, избран им окончательно и бесповоротно.

Он порою испытывает колебания. И в письмах его порою проскальзывают трагические нотки.

Вот выдержка из письма его к сестре, письма первой туринской эпохи:

«Я жил в течение двух лет вне мира, почти как во сне. Я жил

только мозгом и совсем не жил сердцем. Но я работал. Возможно, я работал слишком много, больше, чем мне позволяли мои силы. Я только работал, чтобы жить, я должен был также и отдыхать и развлекаться. За эти два года я, может быть, ни разу не засмеялся, так же как ни разу и не заплакал».

И он продолжал свои признания:

«Я похож на медведя и внешне и внутренне».

В эти годы ему особенно свойственны раздражительность и замкнутость. Его еще мучат сомнения, еще не завершились поиски своего пути, поиски длительные и далеко не всегда легко дававшиеся ему…

В Туринском университете Антонио Грамши познакомился с новейшими веяниями в науке и философии, в Турине он прошел путь от гегельянства (поначалу воспринятого через труды модного тогда Бенедетто Кроче) к марксизму. Впрочем, годы эти в жизни Антонио — это не просто годы ученых занятий. Это его, Антонио Грамши, университеты — примерно в том же смысле, как понимал это слово Горький.

«Этот орел еще не умеет летать», — сурово замечает Тольятти о студенческих годах своего друга.

Может быть, Антонио нелегко давалась наука полета. Как бы то ни было, он научился летать.

Близилась война, но мало кто предчувствовал это: разве что приверженцы наиболее радикальных общественно-политических учений; впрочем, тогда еще к ним мало кто прислушивался.

Не предчувствовал ее, по-видимому, и ученый синьор Бенедетто Кроче, властитель дум историков и философов Италии. Бенедетто Кроче был учеником Антонио Лабриолы, первого итальянского марксиста, но сам он был от марксизма весьма далек, а учитель его, будучи кабинетным ученым, мало что мог сделать для распространения марксизма в Италии. Правда, Лабриола опубликовал несколько весьма ценных работ марксистского характера, оказавших впоследствии большое влияние на развитие общественной мысли.

Следует сказать, что непосредственное влияние трудов Антонио Лабриолы на формирование мировоззрения юного Грамши было поначалу не слишком велико. Характерно, что в объемистом томе юношеских произведений Грамши имя Лабриолы упоминается один раз. Иначе обстояло дело с влиянием Бенедетто Кроче. И тому были весьма веские причины.

Итальянская философия, да в конечном счете и вся итальянская культура конца XIX века, а в какой-то мере и первых лет века XX испытывали значительное воздействие позитивизма. Позитивисты претендовали на то, что они исходят не из

умозрительных построений и словесных умствований, а всегда остаются на почве фактов, исходят из одних только фактов. Позитивисты сыграли поначалу положительную роль в развитии научной мысли Италии. Они провели ряд ценных социологических исследований, изучали экономику сельского хозяйства, взаимоотношения городов и аграрных районов страны. Но переход от описания внешних фактов к более широкому взгляду на вещи, широкое обобщение на основе полученных результатов — все это оказалось уже вне возможностей позитивистской школы. А порой позитивисты становились на совсем уж наивные исходные позиции. Ими предпринимались, например, попытки изучать историю человеческого общества путем приложения к этому обществу законов механики… Естественно, что это был в конечном счете совершенно неплодотворный метод и ради дальнейшего развития науки следовало решительно преодолеть его.

Преодоление позитивизма на рубеже двух столетий осуществили люди, стоящие на марксистских позициях. Так было в России. И так было в большинстве развитых стран Европы. Иначе обстояло дело в Италии.

Здесь основную роль в борьбе с позитивизмом сыграли течения немарксистского характера. И знаменосцем «антипозитивистского восстания» стал в Италии уже упомянутый выше Бенедетто Кроче.

«Антипозитивистское восстание» увенчалось успехом. По сути дела, Кроче ратовал за восстановление в своих правах диалектического метода. За то, чтобы под углом зрения диалектики рассматривать природу и общество. Позитивисты сочли гегельянство ненужным балластом.

Бенедетто Кроче отказался от статичного позитивистского подхода к вещам и событиям. Позитивистской схематике Кроче противопоставлял живую и яркую картину жизни, постоянно движущейся, преображающейся, изменяющейся, находящейся в вечном и непрестанном развитии. Вот и сама история согласно Кроче есть не что иное, как эта вечно развивающаяся жизнь.

Учение Кроче быстро овладело умами юных мыслящих итальянцев. Многих привлекла его борьба против католицизма, поповского обскурантизма, борьба за свободомыслие, за светскую культуру. Бенедетто Кроче не уводил философию в какие-то мистические заоблачные дали. Напротив, он старался приблизить ее к живой жизни, к ее задачам и запросам.

Сочинения Кроче сильнейшим образом повлияли на мировоззрение молодого Грамши. На пути к марксизму он, если можно так выразиться, перенес «детскую болезнь» крочеанства.

Много лет спустя в письме от 17 августа 1931 года Антонио Грамши признается: «Все мы, кто безоговорочно, кто не во всем соглашаясь, участвовали в движении за нравственное и духовное преобразование Италии, начало которому положил Бенедетто Кроче».[3]

Впоследствии Антонио Грамши осознает бесчисленные слабости крочеанства, принижение значения научного познания, идеалистическую трактовку понятия истории вообще, ибо История согласно Кроче так же, как и все существующее, является не чем иным, как проявлением саморазвивающегося духа.

Европа бодрствовала с оружием в руках. Это обстоятельство не было откровением для вдумчивого и не слишком обольщающегося Ромена Роллана, но этого обстоятельства не замечали те историки, философы и литературоведы, которые все еще стояли на позициях оптимистического самоупоения.

Для того чтобы уразуметь это, буржуазные философы тогдашней Европы были в большинстве слишком радужно настроены и обольщены внешними проявлениями капиталистического прогресса.

Промышленность Италии процветала, в сельском хозяйстве севера Италии также намечались заметные преобразования. Одним словом, реальная действительность как будто бы не давала оснований для чрезмерных страхов и опасений.

Тем не менее наиболее проницательные, наиболее ясно и четко мыслящие умы не могли не обратить внимания на то, что в жизни итальянской нации начинают проявляться определенные кризисные явления.

И одно из них было чрезвычайно знаменательным. В последние десятилетия XIX века, после завершения политического объединения страны, интеллигенция прониклась живым интересом к судьбам самой обездоленной части населения и обратилась к социализму. Это был могущественный и великодушный порыв. В Италии не было, можно сказать, ни одного известного писателя или ученого, который не пожелал бы связать себя с социалистическим движением. Степени и формы этой связи были, естественно, различными, но одно было бесспорно: связь эта наличествовала и как бы окрасила в свой цвет есю только что минувшую эпоху.

Но в первые годы XX столетия этот стихийный прилив и эта устремленность итальянской интеллигенции к социализму, казалось, иссякли. Организованное движение трудящихся за свое освобождение ни в коей мере исчерпано не было. Оно продолжалось, добивалось немалых успехов, крепло. И все-таки было явственно заметно, что идеи социализма в эти годы

становятся для итальянской интеллигенции гораздо менее привлекательными.

Почему интеллигенция Италии в начале века проявляла известную холодность по отношению к социалистическим идеям? Тому есть веские причины. Вожди рабочего движения в те годы, люди вообще необыкновенно энергичные и деятельные, проявляли тем не менее слабость и вялость, беспомощность и бездействие на одном необычайно важном участке — на фронте идеологии.

Итальянские социалисты той эпохи приняли марксистское учение, но приняли его неглубоко, поверхностно. Они, если так можно выразиться, не выстрадали его. Конечно, марксизм противопоставил себя предшествующим идеологическим течениям. Но марксизм никогда не отрекался от Гегеля, марксизм впитал метод Гегеля, сделал его своим. Однако в Италии гегельянство не имело особенного успеха и в конце концов было окончательно забыто и возродилось благодаря деятельности Бенедетто Кроче.

Поэтому туринские студенты в канун первой мировой войны вновь обратились к Гегелю, стали, как скромно признался Тольятти, «заигрывать с этой великой философией».

О Лабриоле здесь уже было говорено. Он, надо сказать, проделал путь от гегельянства к марксизму задолго до туринских любомудров. Но у него недоставало сил для непосредственной общественной и политической борьбы, да это было и не в его характере. Кабинетный теоретик, он был в какой-то мере предтечей, человеком, не проложившим, а только наметившим путь, но ведь и это уже немало. Пройти этот путь и создать эту школу мысли и действия должны были другие, юные, младое и незнакомое племя. К этому племени принадлежали Антонио Грамши и его друзья, но их главные деяния и свершения были еще впереди.

Так или иначе, но свято место пусто не бывает, и место марксизма в философии итальянских социалистов той эпохи занял уже упомянутый выше позитивизм, учение, имевшее в Италии немало приверженцев и интерпретаторов, некоторые из них (например, Ардиго) оставили известный след в истории философии и прочно вошли в университетские программы. Позитивизм отмежевывался от диалектического метода. Марксистская диалектика в тесных колодках позитивизма никак не умещалась, хотя тогдашние итальянские социалисты и предпринимали, попытки каким-то образом сочетать марксизм с позитивизмом. И вот шло в дело все, что попадалось под руку: экспериментальная психология, сочинения претендующих на

научность криминалистов типа Ломброзо. Все это привлекалось для истолкования явлений политических и социальных.

Вот в этот период в кругах итальянской интеллигенции принято было считать, что марксизм и социализм в Италии кончились, свершили свой путь. Естественно, это было далеко не так. Ибо организации трудящихся по-прежнему шли вперед. Но что правда, то правда: организации эти были лишены твердого идеологического руководства.

Это была пора воскрешения идеологической гегелевской диалектики.

Единства среди сторонников возврата к идеализму не было, да и не могло быть. Они яростно полемизировали друг с другом, и подробности этой полемики сейчас малоинтересны. Но и помимо гегельянства в интеллектуальных течениях, притом самого запутанного и порой откровенно-снобистского толка, в ту пору решительно не ощущалось недостатка. Одним словом, это был спектр, целая радуга несомненно и недвусмысленно идеалистических течений, давших внезапно изобильный и пышный рост.

Пошли в ход эстетствующий индивидуализм, обожествление личности как таковой в пику общественному и социальному бытию, восхваление волевого начала, культ насилия ради насилия. Это был разрыв между интеллектуальными течениями и реальной жизнью народа. Именно этот разрыв Антонио Грамши считал характерным для итальянской истории, именно этот разрыв, по его мнению, следовало преодолеть.

Энрико Ферри, Филиппо Турати, Антонио Лабриола

В книжке одного старого русского автора, вышедшей в свет в Москве более полувека назад, запечатлен следующий любопытный разговор.

Дома товарищ Ферри? — спрашивает оборванный пролетарий, позвонив у двери социалистического депутата.

Достопочтенный Энрико Ферри дома, — отвечает вымуштрованная горничная.

Автор книги называет эту сценку «последним моментальным снимком, который успевает сделать мой аппарат с этого безмерно быстро эволюционизирующего человека».

Достопочтенный Энрико Ферри продолжал эволюционизировать, доэволюционизировал до фашизма (через ярый национализм), но, впрочем, он был фигурой хотя и чрезвычайно заметной (он даже долгое время руководил партией!), но все же, по сути, второстепенной.

Но ведь и люди куда более серьезные, люди неподкупной честности и покоряющей личной искренности — такие, как Филиппо Турати, — едва ли были настоящими социалистами.

И для этого были свои причины.

Так сложились условия в воссоединенной Италии, что лагерь социалистов сделался, пожалуй, единственным прибежищем людей, недовольных существующим порядком.

Люди выступали против эксплуатации, против ограничения гражданских прав, против всяческих утеснений и притеснений. Иногда бывало так, что человек, бурно протестующий, сам по себе никаким особым притеснениям и угнетениям не подвергается, что, напротив, он ведет вполне благополучное обывательское существование (это зачастую относилось к выходцам из рядов мелкобуржуазной интеллигенции).

Люди такого типа буквально наводняли итальянское социалистическое движение. Ими двигало чувство — эмоция, порыв, — вот их и называли «социалистами чувства».

Едва ли можно было назвать итальянский социализм, особенно на первых этапах его развития, течением пролетарским. И еще проблематичнее — идеологическая незамутненность этого течения.

Конечно же, итальянские социалисты той поры охотно именовали себя марксистами, даже клялись именем «Карло Маркса», но сами подходили к марксизму с некоторой опаской.

По их мнению (в частности, по мнению уже упомянутого Энрико Ферри), марксизм был не более чем дополнением к теориям Дарвина и Спенсера!

Итак, марксистская философия у итальянских социалистов на заре их развития была явно не в чести, хотя в Италии в те годы жил и творил такой замечательный и оригинально мыслящий истолкователь марксизма, как Антонио Лабриола. Он делал все, что мог, но аудитория его была в достаточной мере узка, и вскоре после его смерти его основательно забыли, забыли на добрый десяток лет. Только уже во время войны второе поколение итальянских социалистов заново «открыло» Лабриолу и начало пропагандировать его труды.

И все-таки, несмотря на свою идейную и теоретическую слабость, социалистическое движение на практике достигло немалых успехов.

Народ воссоединенной Италии мечтал о новом обществе, новом справедливом строе, руководить которым будут сами труженики, а не кучка алчных политиканов; он мечтал о свободе, о справедливости. Ему были ненавистны землевладельцы, ненавистна власть денег.

Фактов, изобличающих преступления буржуазного строя, было более чем достаточно, и проповедь социалистов (а среди них были очень талантливые и чрезвычайно самоотверженные проповедники) пала на необыкновенно восприимчивую почву и обрела живейший отклик в сердцах тех многотысячных масс тружеников, у которых едва успело пробудиться политическое самосознание.

Нет, не следует думать, что итальянские социалисты тех времен при всей их слабости по части теории были отвлеченными болтунами, пустозвонными прожектерами. Ничего подобного! Живой практицизм, свойственный итальянцам, их гибкость, сметка проявились и здесь.

И итальянские социалисты уже на ранних этапах развития движения немало сделали для того, чтобы сплотить и организовать трудящихся. Они создавали профсоюзы. Создавали рабочие лиги. Палаты труда.

Да тут был и обратный процесс — ассоциации взаимопомощи, кооперативы, лиги, профсоюзы, создаваемые рабочими, крестьянами и батраками (а сеть подобных организаций была весьма густа, особенно на севере Италии), в свою очередь, послужили теми ячейками, на которые опиралось социалистическое движение: это были новые политические классовые организации, и они превратились потом в социалистическую партию.

Итальянское социалистическое движение, быть может, не имело права называться чисто пролетарским, идеологические устои его тоже были в достаточной мере шаткими, но одно остается несомненным — это было движение, исполненное размаха, энтузиазма и веры в приход нового общественного строя.

Возможности, которые предоставлял буржуазный парламентаризм, были отлично использованы социалистами Италии в интересах трудящихся. Но итальянские социалисты тех времен не обладали решимостью идти до конца.

Многое объясняется здесь влиянием реформизма. Мы иногда поддаемся звучанию политических терминов самих по себе, их этимологическому значению, так сказать. И иногда склонны предполагать, что если реформизм есть движение умеренных, далеких от крайностей, то и возглавлять его должен человек вялый и умеренный.

Быть может, кое-где так порой и обстояло дело — в кайзеровской Германии, например. В Италии тех времен дело обстояло иначе.

Человек, выдвинувший концепцию о полной невозможности революционного захвата власти пролетариатом — о необходимости постепенной политической и культурной подготовки масс, о проведении в сотрудничестве с буржуазией частичных реформ, — итак, человек, выдвинувший эту робкую концепцию умеренности и аккуратности, был крупной и незаурядной личностью. Это был Филиппо Турати, руководитель Миланской социалистической лиги, человек с лицом грубоватым и вдохновенным.

Конечно, Турати во многом был скорее буржуазным радикалом, последним представителем Рисорджименто (по меткому определению Тольятти), чем революционером и борцом рабочего класса. И захват власти в намерения людей типа Турати (пусть и меньшего калибра), бесспорно, не входил.

И внутренняя слабость социалистического движения в Италии состояла в том, что руководители итальянских социалистов не были способны повести массы по революционному пути, который привел бы их к осуществлению стремлений этих масс. Это были отличные проповедники, зачастую дельные и толковые организаторы, но не борцы в подлинном смысле этого слова.

Массы действительно считали, что создаваемые ими ассоциации непременно должны стать костяком, каркасом нового государства. И власть в этом государстве должна будет находиться в руках трудящихся.

Марксизм считался официальным учением итальянского

социалистического движения, и порой оно довольно близко подходило к нему, но чаще социалисты Италии отталкивались от гарибальдийского радикализма, от туманного общечеловеческого гуманизма. Не чужды ему были и анархические тенденции.

Сделать нужно было исполински много. Нужно было повести Италию по пути прогресса. Нужно было развить и завершить дело, начатое Рисорджименто, — нужно было провести демократические реформы, обеспечить соблюдение народных свобод. Нужно было удалить из органов власти монархистов, консерваторов и реакционеров. Нельзя было оставлять в неприкосновенности экономическую структуру государства, нужно было освободить юг Италии от феодальных пережитков.

Антонио Лабриола был весьма активным и последовательным политическим мыслителем, он развивал материалистическую концепцию истории, он выступал против расхожего и пошлого политического фатализма, но в вопросе о путях и способах движения итальянского общества к социализму он проявлял известную робость. Он писал об этом в весьма осторожных, почти скептических выражениях.

Каковы, по мнению Лабриолы, задачи социалистического движения в Италии? Задачи эти в общем довольно скромны: «… развивать политическое сознание масс… воспитывать ту часть рабочих, которая может быть способна к классовой борьбе… противопоставлять различным каморрам (то есть, грубо говоря, рафинированным шайкам. — А. Г.), которые называют себя партиями, сильные народные организации… заставить представителей правительства пойти на полезные для всех экономические реформы».[4]

А вот и последний аккорд — профессор Лабриола с горечью признает (в письме к Паскуале Виллари от 30 ноября 1900 года), что никогда не мечтал о том, «что итальянский социализм сможет когда-либо разрушить капиталистический мир».

Антонио Лабриола видел, что вся политическая концепция итальянских социалистов его эпохи в корне порочна, но ни по своему положению, ни по обстоятельствам личным, бытовым, этот видный ученый не мог стать тем человеком, который способен был бы возглавить борьбу за переход итальянского социалистического движения на какие-то иные, более реальные и более радикальные пути. Это сделалось задачей людей иного поколения, не отцов, а детей. Это было задачей поколения, к которому принадлежал Антонио Грамши, и миссия эта была в конце концов осуществлена этим многострадальным поколением, хотя победа его была достигнута с большими издержками и великой кровью.

В этой связи примечательны слова Пальмиро Тольятти: «… старое итальянское рабочее движение должно было совершить качественный скачок, который освободил бы его как от наивных мечтаний реформистов о тихом закате буржуазного мира, так и от шлака пустозвонного и бессильного экстремизма. Этот качественный скачок и был произведен путем создания Итальянской коммунистической партии».[5]

Но совершен был этот качественный скачок далеко не сразу. Коммунистов 20-х годов от прекраснодушных мечтателей годов 900-х отделяет целая эпоха — дни Капоретто и Витторио Венето, и тревожный девятнадцатый год, и бесчинства фашистских банд, и суровые дни занятия фабрик. Говорят: крот Истории хорошо роет. Но этому кроту требовалось время. И немалое к тому же.

Настоящие люди

«Одно из самых больших в моей жизни «угрызений совести» я испытываю из-за того, что доставил глубокое огорчение моему доброму профессору Бартоли из Туринского университета, уверенному, что я — архангел, которому судьбой предназначено окончательно **разгромить,** разбить «неограмматиков»[6] (так называли ученых, ограничивающихся сухим формализмом).

Так писал своим родным Антонио Грамши после многих лет, прошедших в трудах и борьбе, посвященных активной и целеустремленной политической деятельности.

Он был весь в борьбе, каждое биение его сердца было посвящено ей, ее задачам, ее тяготам и тревогам. Но в полушутливых сомнениях, или, как он сам называл их, «угрызениях совести», есть и некая правдивая нотка.

Нельзя утверждать, что Антонио Грамши мог бы, дескать, стать большим ученым, но задачи революционной борьбы, все время вставшие перед ним, помешали ему всецело предаться чисто академической деятельности.

Грамши — один из крупнейших философов и историков культуры, которых когда-либо порождала щедрая земля Италии. И революционная борьба не только не помешала ему стать истинным ученым, но, напротив, напоила его научные и литературные труды новым, глубочайшим и своеобразнейшим содержанием.

Антонио вступил в туринскую секцию социалистической партии уже на первом курсе; он подал заявление о приеме в партию чуть ли не на второй день после приезда в Турин. И тут молодому филологу, человеку, которого долгое время занимали, казалось бы, сугубо отвлеченные проблемы, приходится окунуться в самую гущу жизни.

Секция поручает ему руководство рабочими обществами страхования и взаимопомощи, и недавний книгочий, казавшийся многим знавшим его будущим кабинетным ученым, превосходно справлялся со своими новыми обязанностями.

Впрочем, контакты с рабочими, с простыми туринскими тружениками, налаживались у Антонио Грамши не только по партийной работе. Завязывались и обычные — бытовые, человеческие, дружеские взаимоотношения.

Трудно удержаться от искушения и не привести здесь отрывка из воспоминаний Пальмиро Тольятти о днях студенческой юности, о первых встречах, первых беседах с Антонио Грамши.

Вот что Тольятти пишет о себе и своем товарище и друге Антонио:

«В 1912–1913 годах, в утренние часы, когда мы уходили с лекций и, выйдя со двора по галерее, отправлялись к реке По, мы иногда замечали кучки непохожих на нас людей, которые шли той же дорогой. Вся эта толпа направлялась к реке и в парки, расположенные на ее берегах, где происходили рабочие митинги по случаю забастовок или празднеств. Туда вместе с этими людьми направлялись и мы, слушали их речи, разговаривали с ними, интересовались их делами. На первый взгляд казалось, что они люди другого порядка. Но это было не так. Наоборот, это и были настоящие люди, жившие своим трудом, боровшиеся за изменение условий своего труда и в этой борьбе изменявшие самих себя и создававшие новые условия для своего существования и для всего общества».

В эти годы началась и журналистская деятельность Антонио Грамши, началась с чрезвычайно скромных, коротеньких заметок в туринском социалистическом еженедельнике «Гридо дель пополо», посвященных самым насущным, повседневным нуждам рабочих. Студент Грамши пишет о помощи матерям и детям, о помощи инвалидам и престарелым, о необходимости слияния различных организаций взаимопомощи в одну единую организацию.

Но эти ранние, самые первые статьи и заметки очень характерны для Антонио Грамши, для его подхода к жизненным проблемам. Впоследствии он стал великолепным теоретиком, стратегом и тактиком всенародной борьбы, но никогда он не чурался мелких задач дня, не брезговал мельчайшими подробностями быта, стремясь увидеть исследуемый вопрос не только «в общем и целом», с неких головокружительных высот, а вблизи, в мельчайших и порою не весьма приглядных подробностях.

Трудясь в обществе взаимопомощи рабочих, корпя над всяческими статистическими данными и выкладками, посвященными условиям труда и быта туринских тружеников, Антонио частенько вспоминал вот эти привязчивые, назойливо всплывающие в памяти строки Трилуссы, римского народного поэта:

Согласно статистике нашей в истекшем году
Ты курицу слопал одну запятая ноль целых.
А коль ни одной не умял ты, себе на беду,
Тебя все равно я в графу куроедов введу,
Поскольку сосед твой, по крайности, парочку съел их!

Нет, конечно же, мертвые цифры не могут выразить всей глубины бедствий народных, и едва ли нужно идти лишь путем кропотливого математического анализа — нужны какие-то иные действия и иные меры.

Но какие?

Быть может, самым эффективным средством является забастовка, широкое развитие стачечного движения? В эти годы Антонио был свидетелем двух крупных забастовок металлистов.

И если первая, которой руководили синдикалисты, прошла хаотично и закончилась поражением, то вторая, год спустя, прошедшая под руководством организаций, входивших в Конфедерацию труда, завершилась полной победой забастовщиков.

Так, может быть, путь к победе рабочего класса лежит через всеобщую стачку? Что же, и этот вопрос, пожалуй первоочередной в ряду иных животрепещущих вопросов, был предметом самых пламенных и самых ожесточенных дискуссий.

Антонио Грамши вспоминал впоследствии:

«Часто, когда мы — молодые студенты и рабочие — выходили группами с партийных собраний и шли по улицам уже погрузившегося в тишину города, последние ночные гуляки, останавливаясь, с изумлением глядели на нас, потому что, забывшись, еще полные страстного возбуждения, мы продолжали наши дискуссии, прерывая их взрывами неудержимого хохота, обнаруживая «кровожадные» намерения, совершая экскурсы в царство несбыточных мечтаний».

А впрочем, быть может, и не столь уж несбыточных! Как знать?

Ведь пусть Антонио еще далеко не старожил Турина, у него было достаточно времени, чтобы убедиться в том, как живет простой туринский люд и большая ли доля пресловутой среднестатистической курицы приходится на каждого туринского мастерового.

Да, но, быть может, в других городах Италии трудовой народ живет иначе? Ну, хоть, например, в Риме, в Вечном городе? Бок о бок с резиденцией самого наместника святого Петра?

К великому сожалению, Антонио не довелось еще побывать в Риме. И волей-неволей ему приходится прибегнуть к литературным источникам. Он берет в университетской библиотеке книгу, принадлежащую перу известного исследователя Доменико Орано, книга эта вышла из печати совсем недавно.

«Наблюдая жалкое существование живущих вместе больных и здоровых, сифилитиков с туберкулезными, молодых со старыми, я понял загадочную трагедию народа, которому государство внушает законы морали и карает за нарушение их, но оставляет в то же время в невежестве и нищете…

…Когда 2 апреля 1908 года на площади Иисуса произошли беспорядки, одна консервативная газета вопрошала себя, какие причины вызвали этот ничем не объяснимый народный протест, не имеющий в свое оправдание ни одного мотива.

Я же в это время поражался тому, почему такие возмущения не повторяются еще чаще и почему чувство возмущения и дух восстания, подобно грозному потоку и раскаленной лаве, не опрокинет или не сожжет жандармское государство.

Народ, который трудится и страдает, часто не имеет постели для спанья, дома для охраны невинности собственных дочерей, воздуха для дыхания».

Ну, пускай Доменико Орано излагает свои наблюдения в несколько приподнятой манере, суть-то остается — дальше так существовать невозможно!

Дни идут за днями, все новые вспышки классовых битв возникают то тут, то там, в накаленной атмосфере предвоенного затишья, за розовым туманом официального благополучия.

В 1913 году в Рокка Горга войска расстреляли толпу голодных крестьян.

Вся Италия была возмущена. Однако возмущение это в те дни еще не вылилось в какие-либо действенные формы. Затишье продолжалось. Впрочем, продолжалось оно до поры до времени.

Наступил июнь 1914 года. Энрико Малатеста, престарелый анархист, выступал на митинге в Анконе. Толпа ликовала и негодовала вместе с оратором. Войска стали стрелять в народ. Жертв, к счастью, было немного — двое убитых и несколько раненых. Но это была капля, переполнившая чашу.

Рабочие и батраки по всей Италии с утра 8 июня прекратили работу. Вечером того же дня официальная стачка протеста была объявлена Всеобщей конфедерацией труда и руководством социалистов. Так началась забастовка, продолжавшаяся где четыре, где пять дней. Впоследствии события эти были названы «Красной неделей». Наибольший размах и наиболее бурный характер приняло движение в Анконе и Романье. Демонстранты захватили несколько магазинов оружия, арестовали одного генерала и ряд высших чиновников. Республиканцы и социалисты на время забыли обо всем, что их разделяло, — ненависть к монархизму, к реакции, к реакционному правительству Антонио Саландры оказалась сильнее всех их разногласий.

Так Энрико Малатеста, закоренелый анархист, величайший путаник и наивнейший романтик, чистой воды бакунист, волею судеб содействовал, правда сугубо временному и недолговечному, объединению левых сил Италии.

Вооруженные столкновения между забастовщиками и полицией происходили почти во всех крупных городах: Милане, Венеции, Бергамо, Бари и других. Не обошлось без кровопролития.

Чрезвычайно воинственно настроенные националисты также выступили против собственного народа.

Забастовщики захватывали помещения вокзалов, нарушали телеграфную связь, швыряли в солдат камнями, встречали их пальбой из револьверов.

Правительство Саландры, естественно, не собиралось капитулировать. В Риме войска занимают все основные стратегические пункты; войска охраняют подступы к парламенту, разгоняют уличные демонстрации, королевский дворец Квиринал охраняют пулеметчики.

В результате всех этих правительственных действий в столице Италии насчитывалось несколько десятков раненых; убитых, впрочем, оказалось меньше, чем в других итальянских городах.

В Турине в эти дни происходили внушительные демонстрации, в них приняли участие десятки тысяч рабочих.

Демонстрировали они и на городских окраинах и в самом центре, перед центральным полицейским управлением на улице Гарибальди, на улице Рома и на площади Сан-Карло.

Войска и жандармы неоднократно стреляли в толпу. Было множество раненых и двое убитых.

Пули впивались в цоколь монумента Эммануэле Филиберто на площади Сан-Карло. Еще много лет спустя на нем можно было видеть следы от них.

Так было в городах.

А в сельскохозяйственных областях центральной Италии, особенно в Романье и Марке, события приняли характер открытого восстания — в этих областях большинство крестьян поддержало всеобщую стачку городских рабочих. В Романье и Марке толпы повстанцев громили хлебные лавки, амбары, захватывали пороховые склады и оружейные магазины, брали штурмом помещения префектур и казармы карабинеров. В этих областях стихийно возник единый фронт трудящихся — здесь образовались руководящие «комитеты действия», в которые входили социалисты, республиканцы и популярные среди местной бедноты анархисты.

Оказалось вдруг, что восстание в Романье и Марке не так уж легко подавить. Конечно, правительство не поколебалось бы направить против взбунтовавшегося мужичья несколько эшелонов карателей. Но железнодорожники захватили узловые станции и прервали сообщение Романьи и Марке с прочими районами Италии. Правительство было вынуждено держать свои войска в промышленных центрах. А местные власти не решились двинуть находившиеся в их распоряжении части против народа. Население восставших областей, по сути дела, было совершенно отрезано от внешнего мира. Восставшие не встречали серьезного сопротивления — тут-то в их среде и возникли слухи о революции в Италии, свержении монархии, бегстве короля.

И вот на какое-то недолгое время «комитеты действия» сделались органами республиканской власти, они руководили всей жизнью восставших районов.

«Комитеты действия» стали издавать декреты о конфискации у крупных помещиков продуктов, продукты эти затем распределялись среди голодающего населения по значительно сниженным ценам.

Правда, в недрах самих комитетов не было, видимо, желательного единодушия. Буржуазных республиканцев, входивших в состав комитетов, не слишком восхищали эксцессы движения, и они всячески старались сдерживать крестьян и даже заставляли их возвращать землевладельцам «излишки» конфискованных продуктов.

Карликовые «республики», эфемерные, преходящие, были созданы в эти дни в Анконе, Фабиано, Сенигалии и еще кое-где.

10 июня лидеры Конфедерации труда объявили всеобщую стачку законченной. Однако она продолжалась фактически до 13–14 июня.

Войска, необходимые ранее правительству в промышленных центрах, оказались высвобождены, синьор Саландра почувствовал, что руки у него развязаны, и перебросил войска в Романью и Марке. Конечно, население этих областей, окончательно сбитое с толку, дезориентированное, не могло оказать существенного сопротивления.

Люди в полней растерянности глядели на молодцевато отбивающих шаг солдат. И все-таки кое-где повстанцы сражались с войсками.

В конце июня начались массовые репрессии. Тюрьмы оказались набиты до отказа.

Итак, «Красная неделя» продемонстрировала стихийную революционность итальянских масс. Однако отсутствие подлинного руководства и четкой политической цели было

главной причиной неминуемого поражения. Италия, слабая в экономическом и политическом отношении страна, страна совершенно истерзанная внутренними противоречиями, стояла накануне великих и горестных событий. Был июнь 1914 года.

Война, уже не местная, не частная война в Ливии, — всеевропейская бойня стояла у порога.

Правда, Италия вступит в нее несколько позже, чем другие державы Европы.

Есть еще немного времени, да и не так уж мало — почти год, ведь Италия вступит в войну лишь 24 мая 1915 года.

И Антонио Грамши, молодой туринский социалист, подводит для себя итоги последних классовых битв.

Во время их молодому Антонио Грамши приходилось, увы, иметь дело с туринскими социалистами старого типа.

Туринские социалисты старого типа были люди своеобразные. Это были синьоры с несколько филантропической жилкой — как, например, Казалини, лекарь бедняков и убежденный провозвестник общегигиенических заповедей. Были тут и просто интеллигенты — социалисты академического толка: профессор Зино Зини, историк Пастонки. Социалистом именовал себя даже Бальзамо Кривелли, утонченный эрудит, лицо титулованное — маркиз Бальзамо Кривелли.

Молодым туринским социалистам все эти господа мало импонировали. Они казались им сугубо отставшими от века, погрязшими в каких-то умозрительных понятиях. Осмысленнее прочих им представлялась деятельность Нофри, заправлявшего кооперативным движением, отлично знавшего техническую сторону этого дела. Но и деятельность Нофри, конечно же, не могла их вдохновить.

А уж философствующие аристократы, внезапно, повинуясь голосу совести, что ли, выступившие за дело угнетенных, не казались молодым туринским рабочим и студентам людьми, имеющими будущее.

Не мудрено, что Бенито Муссолини, который был не намного старше этих молодых бунтарей, Бенито Хуарес Муссолини, названный так в честь мексиканского повстанца, непоседливый сын кузнеца из Предаппио и главный редактор «Аванти!», больше приходился по душе очень многим из них. Об этом свидетельствует, в частности, не склонный к прикрашиванию действительности Марио Монтаньяна.

Несколько слов о самом Монтаньяне. Выходец из мелкобуржуазной среды, сын директора галантерейного магазина, он по собственной охоте стал рабочим-металлистом, презрев открывавшееся перед ним поле коммерческой

деятельности. Впоследствии он увлекся политикой и стал журналистом и профессиональным революционером, прошел долгий и трудный путь. Жизнь его не баловала, но едва ли он сожалел об упущенной возможности заняться торговлей подтяжками. Монтаньяна без обиняков заявляет: «Мы, молодые, все были энтузиастами Муссолини, отчасти потому, что он был сравнительно столь же молод, как и мы; отчасти потому, что он обратил в бегство реформистов, и, наконец, потому, что его статьи в «Аванти!» казались нам сильными и революционными». [7]

Муссолини вскоре изменил социализму. А тот же Марио Монтаньяна и другие туринские энтузиасты всю последующую свою жизнь боролись с переметнувшимся Бенито не на жизнь, а на смерть. И многие из них погибли в этой борьбе.

А теперь немного о «настоящих», как он их называл, о людях, с которыми сталкивался Грамши в те годы. Вот имена некоторых из них: Джино Кастаньо, Антонио Оберти, железнодорожник Оттавио Пасторе, весовщик Джованни Пароди, крестьянский парень Баттиста Сантиа, перебравшийся в Турин из зоны батраков в Верчеллезе. Это все социалисты. Впрочем, Антонио Грамши застал в те годы в Турине не одних только социалистов. Были там и революционные синдикалисты и анархисты, как, например, Маурицио Гарино, земляк Грамши, родом из сардинских крестьян.

В дни «Красной недели» Грамши писал о багряных цветах крови, распустившихся на прямолинейных улицах Турина. «Красная неделя» казалась ему великолепным толчком, пошатнувшим весь поскрипывающий каркас тогдашнего Итальянского государства.

Ну, а что он видел в дни «Красной недели»? Толпы людей, людское море, хлынувшее на бульвары и залившее, затопившее их. Люди взламывали ворота, шел народ, шли рабочие, труженики, и полиция дрожала, объятая страхом и ужасом.

Он, конечно же, видел все это сам, своими глазами, — он не мог не быть вместе со своими друзьями и сверстниками на площадях Турина. А может быть, он был и на самой пьяцца Кастелло, где под пулями солдат погиб юный рабочий-анархист.

Так студент Антонио Грамши увидел борьбу людей труда за свое освобождение. Увидел и принял в ней самое активное участие.

В туринские годы начинается истинный и тесный контакт Антонио Грамши и его единомышленников с пролетариями, с представителями рабочего класса. Пролетариат, рабочий класс перестают быть для него абстракцией, отвлеченным понятием,

пролетариат теперь — это «люди из плоти и крови».

Теперь у него родилась мечта — мечта о создании нового социалистического движения. Мечта о движении, полном духовной и революционной энергии, о движении, в котором не было бы больше разрыва между партией и рабочими массами, о движении, в котором, говоря его, же собственными словами, «партия и пролетариат составляли бы единое целое, направляемое твердой рукой к цели, достижение которой иногда казалось нам… не только неминуемым, но и близким».[8]

В дни войны Габриэле Д'Аннунцио держит речь на утесе Кварто

1 августа 1914 года Германия объявила войну России. Вскоре в войну вступили другие великие державы.

Предполагалось, что она надолго не затянется. Предполагалось также, что Италии во что бы то ни стало следует поспеть к разделу добычи. Не быть обделенной и обойденной. Воинственных группировок было много, идеологий тоже, но в одном все сходились: в жажде войны. Таковы уж были удивительные итальянские патриоты 1915 года. Король хотел войны, и премьер Саландра стремился к войне, и националисты спали и видели эту всесметающую победоносную войну.

Рабочий класс в массе был против вмешательства. Социалистическая партия отражала эти его настроения.

Главным редактором «Аванти!» был тогда Бенито Муссолини, считавшийся в предвоенные годы человеком крайне левых взглядов.

Большой рекламист, он старался привлечь к себе внимание при каждом удобном и неудобном случае. Пользуясь набором самых пылких эпитетов, он клеймил буржуазию и короля, религию и церковь, приводя в ужас наиболее ретроградных своих соотечественников.

Сын кузнеца из местечка Предаппио, он охотно подчеркивал свой демократизм, ввертывал в свои публичные выступления всяческие простонародные обороты, одним словом, изображал свойского парня.

Оратор он был превосходный и журналист ловчайший, наделенный от природы несказанной резвостью пера. Строчил он обычно дома, прямо на кухонном столе, причем строчил с совершенно молниеносной скоростью — супруга его, донна Ракеле, только дивилась: откуда что берется!

У семейства Муссолини не было, что называется, ни кола ни двора. Впрочем, Бенито как-то выкручивался. И вдруг наступила благотворная перемена.

Муссолини стал главным редактором газеты. И не какой-нибудь там завалящей газетенки, а газеты «Аванти!», самой главной газеты у не совсем понятных донне Ракеле социалистов. И статьи его стали еще громогласней, чем прежде.

Произошло это в двенадцатом году. Затем наступил

тринадцатый, потом четырнадцатый — Муссолини по-прежнему крепко сидел в редакторском кресле. И пользовался, как мы видели, успехом у революционной молодежи. И вот началась война в Европе. Нет, Бенито считал, что это не народная, не рабочая война. И он писал:

«Итальянский пролетариат, восстань! Пробил час твердых решений и величайшей ответственности. На карту поставлены твоя кровь, твой хлеб, твое грядущее!»

Или еще так:

«Пролетариат поставляет сырье — пушечное мясо, с помощью которого державы творят историю… война — это максимальная эксплуатация пролетарского класса. После пота — кровь, после эксплуатации труда — смерть на поле брани!»

Все это были весьма эмоциональные и очень правильные слова. И возразить было нечего. Бенито был кругом прав.

Одним словом, Бенито Муссолини еще и на исходе сентября одна тысяча девятьсот четырнадцатого года числился неустрашимым приверженцем мира.

А в начале октября миланцы зашушукались, что редактор Муссолини еще не все свои козыри выложил. Что нейтрален-то он только на словах, а на деле вот как ненавидит австрияков — почти как Гарибальди! Словом, это уже не один Муссолини, а целых два: один — социалист — по-прежнему придерживается социалистической доктрины. А другой — тот прямо рвется в бой.

В конце концов его воинственные настроения выплеснулись на страницы «Аванти!». Его статьи (а в них, нимало не скромничая, он заговорил от лица всей итальянской нации!) преисполнились воинственного пыла. Партийное руководство пыталось призвать его к порядку.

В Болонье восемнадцатого октября четырнадцатого года он предстал перед партийным ареопагом. Строптивого редактора пытались урезонить. Но было уже поздно.

«О господи! Сколько смешного в Италии, от маринованных пикулей и до абсолютного нейтралитета! Уж так смешно, обхохотаться можно!» — заревел он и вышел, хлопнув дверью. Муссолини знал, что делает. За его спиной стояли и о его благе пеклись важные синьоры. Синьор Эстерле — это электрокомпания «Эдисон». Синьор Бруццоне — это объединение сахарозаводчиков. Синьор Аньелли — это трест «ФИАТ» («Итальянский автозавод в Турине»). А синьор Перроне — за его плечами стоит концерн «Ансальдо».

Все эти господа субсидировали теперь Муссолини. Он вознамерился издавать газету, она, правда, именовалась еще «социалистической ежедневной», таков был подзаголовок, но

социализмом в ней уже, пожалуй, и не пахло, зато всяческого великодержавия было хоть отбавляй. Называлась газета гордо — «НАРОД ИТАЛИИ» — «ПОПОЛО д'ИТАЛИА». Заголовок ее был украшен эпиграфами из Огюста Бланки и Наполеона Бонапарта.

Ее субсидировали и местные крупные землевладельцы и франко-бельгийские капиталисты, ходили упорные слухи, что и сотрудники британской Интеллидженс сервис приложили руки свои к этой не вполне ясной афере.

А программа была самая решительная — война; «жуткое и сладостное слово «война» — именно так выражался главный редактор новооснованного органа.

«В наши дни антивоенная пропаганда — это трусость!» — вещал Бенито Муссолини на столбцах «Пополо д'Италиа». Убеждения у него теперь были новые, и он беззастенчиво упивался прелестью новизны.

И он посылал жену по киоскам — пусть поглядит, как нынче идет «Пополо д'Италиа».

Киоскеры не жаловались. Один ехидный старик буркнул даже, что газета расходится особенно хорошо, когда в ней бывает статья «этого дурака Муссолини». Бенито был весьма польщен. Правда, Джачинто Менотти Серрати печатно именовал редакцию «Пополо» берлогой, притоном или вертепом.

Но нашлись социалисты и синдикалисты, которые переметнулись на сторону Муссолини, нашлись люди, разделившие его взгляды. Итальянская интеллигенция в эти дни не была едина. В ее рядах было немало людей, вполне субъективно честных и бескорыстных, людей, считавших, что война — это единственно возможный путь завершения возрождения Италии, завершения РИСОРДЖИМЕНТО.

Все шло в дело, вплоть до цитат из Данте, ведь он, Данте, воспел Италию, окруженную горами и морем. Воспел широкую арку Альп как рубеж Италии на суше, но ведь иные территории, и довольно обширные, к югу и западу от этой широкой арки Альп, были в те дни еще в австрийских руках. Стало быть, выход был один — война за восстановление единства родины, как продолжение и завершение РИСОРДЖИМЕНТО. А пламенный Бенито Муссолини в своем широковещательном органе не скупился на пышные слова. Он уверял, что нейтралитет есть не что иное, как национальное, общенациональное самоубийство, что только рыцарственное вмешательство Италии в войну может дать ей место среди наиболее благородных наций мира! Все было уже решено. Италия вступает в войну на стороне держав Сердечного Согласия — на стороне Англии, Франции и России. Но как сделать войну приемлемой для масс, для, в лучшем

случае, равнодушных, а в худшем случае — нескрываемо враждебных масс? Правительству понадобился чудотворец, Бенито Муссолини эту вакансию занять не мог. Он был недостаточно популярен. К тому же он пытался воздействовать на разум своих читателей, пытался увлечь их возможностью всяческих выгод — политических и моральных, — однако проповедь его для широких масс казалась несколько сложноватой. Здесь нужен был кумир, идол, какой-то знакомый незнакомец, фигура общеизвестная и способная подогреть взрыв шовинистических чувств.

И премьер-министра Итальянского королевства осенило: Д'Аннунцио, Габриэле Д'Аннунцио! Ну как же можно было забыть о такой ярчайшей личности! Габриэле был величайший позер, эстет, рафинированный интеллигент, поэт и романист весьма экзальтированного и взвинченного плана. Ростом он, увы, не вышел и красотой не отличался; некий британский историк писал впоследствии, что Д'Аннунцио был-де похож на какого-то фантастического фавна.

Сам Габриэле очень огорчался своей незадачливой внешностью: на вилле своей под Флоренцией он подолгу торчал перед громадным венецианским зеркалом, в мантии с меховой оторочкой, в кружевном белье, а иногда, когда ему взбредало в голову стать аскетом, в монашеской рясе. Это был театр для себя, предприятие, само по себе для прочей Италии совершенно безвредное.

«Человек ли я, — допытывался он у своего отражения, — человеческое ли я существо или чистая воля к искусству?» Он считал себя даже сверхчеловеком, созданием, которому все дозволено, даже «радость убивать». При всех своих слабостях и вывертах Д'Аннунцио, бесспорно, был весьма одаренным писателем, завоевавшим европейскую славу.

Стихи его были необычайно красивы и патриотичны.

«Новые дни придут для нашей Италии: знамя Капитолия развернется в голубом пространстве, знамя, ставшее прекрасным от славы своей… И тогда к Риму вернутся битвы и триумфы античности!»

Все было в его гимнах — и «не плачь, душа Тренто, матерь твоя не покинет тебя!» и «О непобежденный Триест, мечта наших сердец, живая рана в нашей плоти, нет, не тщетно ты ждешь!»

Одним словом, Д'Аннунцио подходил по всем статьям. У него было еще одно необыкновенное достоинство: его восторги при всей их чрезмерности были вполне искренни, он всей душой верил в то, что говорил и вещал. Его уносили куда-то волны пафоса, они подхватывали его, и поэт взмывал ввысь, — да, он

был искренен даже тогда, когда заведомо актерствовал. В канун войны поэт стал марионеткой в руках куда более хладнокровных, осмотрительных и рассудительных господ.

Наступает 5 мая 1915 года. На утесе Кварто, близ Генуи, должен быть открыт памятник Гарибальди.

Торжество было обставлено самым картинным образом. Это монумент не только самому Гарибальди, это монумент и всей его «Тысяче» — с этого вот утеса сошли гарибальдийцы, отправляясь освобождать Сицилию от владычества ненавистных Бурбонов.

И вот на утесе появляется долгожданный Габриэле Д'Аннунцио. И солнце пронзает тучи. И оживает небесная лазурь. И ниспадает алое полотнище, покрывающее монумент. И Габриэле начинает говорить о необыкновенном ваятеле, о новом Микеланджело, который воскресил гарибальдийцев, воззвал их к новой жизни, пусть не во плоти, пусть в вечной бронзе! Поэт говорил о величии Италии. О крови и славе. И о территориях, которые могут быть приобретены этими же самыми «кровью и славой», он не забыл упомянуть.

А кончил он совершенно неописуемым пируэтом:

«Прокляты те, кому сейчас двадцать лет, которые занимаются стерильной любовью, чтобы остаться девственными для любви к ОТЕЧЕСТВУ!»

Речь барда имела, естественно, громадный успех. Д'Аннунцио призывал к войне. К войне призывали и интервенционисты и недавно переметнувшийся в их стан Бенито Муссолини. Но поэт далеко оставил их за флагом. Такого изящества, такого огня ревностные интервенционисты даже от него не ожидали!

Бенито Муссолини также побывал на утесе в Кварто. И был глубоко огорчен и обескуражен. Муссолини терзала зависть. О торжествах следовало дать отчет и назвать имя оратора. Этого еще не хватало! И Муссолини нашел выход из положения. Он как бы забыл о существовании Д'Аннунцио! Поэта как бы и не существовало. Он и не говорил. Говорила Генуя.

Вот как это прозвучало на столбцах «Пополо д'Италиа»:

«Вчера Генуя сказала свое великое слово правды. Она сказала его, обратясь лицом к морю, на славной скале перед бесчисленной толпой. Война! — кричал вчера народ, слив свои голоса в один голос. — Война!»

Потом Д'Аннунцио говорил в Риме. С невероятным успехом. Энтузиазм не имел границ.

Муссолини писал и об этой римской речи. Имени оратора он опять-таки не упомянул. Поэта для него как бы не существовало. Словом, это были откровенно конкурирующие организации: честь событий 1915 года Муссолини приписывал себе. Поэт Габриэле

же никогда не сомневался, что если Италия вступила в войну, то только потому, что ее воспламенили его вдохновенные речи. Бедный поэт не знал, что премьер Саландра, так оказать, на корню запродал Антанте Италию и ее участие в войне. Поэт не знал, что все уже решено, решено и подписано.

И вот наступает 24 мая 1915 года. Италия объявляет Австрии войну. Бенито Муссолини приветствует этот акт в следующих решительных выражениях: «О матерь Италия, мы жертвуем тебе без страха и упрека нашу жизнь и нашу смерть!»

Справедливость требует сказать, что это довольно близкая парафраза одного пассажа из поэмы Габриэле Д'Аннунцио «Ночь на Капрере». Но теперь некогда было сводить счеты славы. Жребий был брошен. Возлюбленное отечество на всех парах катилось в пропасть. Итальянские берсальеры чуть ли не голыми руками рвали колючую проволоку. Муссолини в возвышенных словах расписывал эти горестные подвиги. В его статьях звучали новые нотки.

«Австрийские позиции расположены выше в горах, — писал он, — и все, что нужно австрийцам для обороны, — это скатить валун на итальянские позиции!»

Первые месяцы Муссолини воевал за письменным столом. Но в конце августа пятнадцатого года он был призван на действительную службу. Прослужил он семнадцать месяцев — из них почти полгода провел на передовой. Солдатом он был исполнительным; правда, особых подвигов за ним не числилось. Все это время он вел фронтовой дневник. Дневник этот позже вышел отдельной книжкой. Никакими красотами стиля он не отличался, звучал суховато и по-деловому. Бенито Муссолини, краснобай и, несмотря на многочисленные вспышки и скандалы, человек скорее мирного нрава (по крайней мере — в те уже отдаленные от нас времена), здесь, в траншеях, ожесточился. Ожесточился и привык к виду смерти. Когда-то приятельница тянула его в морг — погиб некий юноша, земляк Муссолини, выходец из его родного городка; Бенито должен был опознать его, но не пошел, побоялся.

Теперь он совершенно преобразился. Теперь Муссолини преспокойно относится к зрелищу гибели: «Смерть скрыта. Видим только окаменевшие руки, покрытые траншейной пылью. Мы свистим, мы поем. Когда зрелище смерти примелькалось, оно больше не производит впечатления… Следы крови и мозга на вьючной тропе… На вершине все еще десять трупов. Один без головы». Чьи это трупы — итальянцев или австрийцев? — Муссолини это безразлично. Смерть уравняла всех.

В отличие от Муссолини поэт Габриэле Д'Аннунцио пошел на

войну добровольцем. Он был пилотом, пехотинцем и моряком. А еще до этого — лейтенантом кавалерии.

Он и в самом деле летал над двумя невоссоединенными городами, над Триестом и Тренто. Нет, не бомбы сбрасывал он, а листовки, листовки, сочиненные им самим: Д'Аннунцио завертывал их в итальянский флаг. Листовки эти были весьма красноречивы: «Трентини, наш народ в любви и печали, братья в вечном Данте!»

Неизвестно, оказывали ли эти листовки особое влияние на умонастроение населения. Но австрийское командование зашевелилось. За голову Габриэле Д'Аннунцио была назначена премия в двадцать тысяч крон. Габриэле не устрашился. Покачивая своей оцененной головой, он летал над ирредентистскими, то есть над еще не воссоединенными, городами. В январе шестнадцатого года поэт был в рекогносцировочном полете над Триестом и побережьем Истрии. Мотор гидроплана заглох. Д'Аннунцио опустился на море, машина наткнулась на мель, пилота вытряхнуло из кабины, правым виском он ударился о пулемет. Он уцелел, но потерял правый глаз. И потом несколько недель пролежал в темной комнате.

Но не будем пытаться обогнать развитие событий. Вернемся к положению дел на итало-австрийском фронте.

Когда в начале августа 1915 года у первого министра Италии Саландры спросили, приняты ли меры для обеспечения войск зимним обмундированием, глава итальянского правительства изумился до чрезвычайности. Он назвал спросившего пессимистом и осведомился, действительно ли тот полагает, что война не окончится к зиме.

Вскоре, однако, в настроениях правящих сфер нечто изменилось. Газеты (официозные!) получили указание подготовить публику к тому, «что война продлится и в будущем году».

И газеты, только что уверявшие, что решительная победа не за горами, начали вдруг втолковывать своим читателям, что война будет несколько более длительной, чем это предполагалось ранее.

Лондонская «Таймс» в номере от 15 декабря сообщила, что итальянские солдаты в Альпах массами гибнут от гангрены после обморожений. Тут-то англичане, участливые британские леди и джентльмены, и начали посылать теплую одежду своим отважным, но неимущим союзникам.

Итальянские парламентарии всполошились. Они опасались, что международный престиж Италии может потерпеть урон. И

итальянские послы и посланники получили указание от своего министра — отнюдь не поощрять такого рода сборов. И сборы прекратились.

Самое удивительное, однако, что у итальянских промышленников в это время обнаружились кое-какие излишки теплого белья, но эти излишки продукции они старались повыгоднее сбыть за границу.

В самый разгар холодов итальянские фирмы предлагали российскому интендантству купить у них сотни тысяч пар теплых носков, теплого белья и тому подобной экипировки.

А положение итальянских фронтовиков в это время было прямо трагическим. Вот что писал много лет спустя один из солдат 1915 года:

«В кровавых битвах на Карсо целые бригады сгорали в адском огне. Число людей в батальонах уменьшалось до нескольких десятков… Солдаты не хотели войны, но с отчаянным упорством цеплялись за землю, стремясь выйти из ада на Карсо и достичь сказочного Триеста, который мерещился им, как мираж».

За первые полгода войны итальянская армия потеряла 268 тысяч человек. Однако, несмотря на все эти потери, Италия достигла лишь самого ничтожного результата. И властям Италии осталось только требовать у союзников немедленного наступления, чтобы оттянуть австрийские силы с итальянского фронта. Но военные задачи были только частью дела. Война нарушила всю структуру итальянского народного хозяйства. Оно и так не отличалось особой самостоятельностью и во многом держалось на давних связях с австрийской и германской промышленностью. Когда же связи эти были внезапно расторгнуты, итальянская промышленность оказалась в чрезвычайно затруднительном положении.

Исчезли немецкие красители, и нечем стало окрашивать текстиль. Величайшие мастера своего дела, непревзойденные итальянские обувщики страдали от отсутствия немецкого кожевенного сырья.

Исчезли немецкие лекарства, и полки аптек, по сути, опустели; госпитали остались без медицинского инструментария, трудно было без немецких химикатов, без немецких машин.

Кое-что, правда, еще оставалось про запас, но те счастливчики, у которых было прибережено кое-что из немецких остродефицитных товаров, воспользовались благоприятной конъюнктурой и взвинтили цены на свое заветное добро до самых невероятных пределов!

Вздорожали даже дамские шпильки, ибо и этот невинный продукт, как выяснилось, тоже доставлялся в Италию из

Германии.

Итальянские коммерсанты были, естественно, преисполнены всяческого патриотизма, но сердца их обливались кровью. Разрыв вековых торговых связей с Австрией и Германией самым ощутительным образом ударил их по карману. И газета «Католическое единство» с нескрываемой завистью писала о том, что у цветоводов нейтральной Швейцарии дела превосхитительно идут в гору: они продают немцам фиалки и мимозы, которые прежде вывозились в Германию из Италии!

Кое-кто из итальянских негоциантов ослабел духом и не устоял перед соблазном. И совету министров Италии спустя год с небольшим после вступления страны в войну пришлось издать специальный декрет, согласно которому вывоз товаров во вражеские страны карался тюремным заключением до пяти лет и штрафом в размере пятикратной стоимости товара. По-видимому, для издания этого декрета были весьма серьезные основания.

В отличие от пармских фиалок деньги не пахли! И в Италии, исстрадавшейся, кровоточащей Италии, появился вдруг целый слой нуворишей, то есть новых богачей. Левые газеты называли этих скоропалительных крезов «буржуазией гнилого зерна и картонных подметок».

Эти нувориши развивали поистине бешеную деятельность.

Пользуясь невообразимым хаосом, царившим в аппарате военного ведомства, а в известной мере и его попустительством, они поставляли для армии никуда не годную обувь, сукно, в котором примесей было больше, чем шерсти.

Шинели, сшитые из этого сукна, впитывали в себя влагу, как губка, и, стало быть, в зимнее время обледеневали, превращались в некий ледяной панцирь и торчали колом!

Конечно, в Италии, кроме недобросовестных поставщиков, занимавшихся подобного рода махинациями, существовали и господа большой руки. Они не унижались до подобного рода мошенничества.

Превосходно, с широким размахом, работали предприятия концерна Ансальдо. Осенью пятнадцатого года на них было занято восемь тысяч человек. Здесь строили крейсеры, выпускали торпеды, орудия, вытачивали снаряды. Обществу Ансальдо принадлежал целый флот, насчитывавший до двух десятков кораблей.

Но с наибольшим блеском шли дела автомобилестроительного треста «ФИАТ», производившего легковые и грузовые машины, авиамоторы, самолеты.

Вся эта продукция поставлялась военным ведомствам Италии и союзных с нею держав.

Итальянское правительство само остро нуждалось в автомашинах. Однако оно вынуждено было под давлением союзников разрешить дирекции «ФИАТ» выполнять и союзные заказы. Правда, заказы эти шли, как правило, через итальянские правительственные организации. Но заправилам «ФИАТ» удалось утаить от правительства часть производственных мощностей предприятия, и утаенные таким образом «левые» автомашины сбывались на сторону, иностранным державам по взвинченным ценам.

Трудовой народ Италии войны не хотел. И под давлением масс руководство социалистической партии выдвинуло лозунг «абсолютного нейтралитета».

Ну что ж, этот лозунг в те времена свидетельствовал об известной левизне взглядов — во всяком случае, позиция итальянских социалистов, казалось бы, радикально отличалась от верноподданнической позиции, занятой, скажем, социал-демократами Германии, — ведь в Германии только Либкнехт и малая горстка его приверженцев выступили против военных кредитов.

В Италии, особенно на первых порах, дело обстояло иначе. Социалисты даже провели открытый диспут по вопросу о нейтралитете. И молодой, двадцатитрехлетний Антонио Грамши, туринский студент, выступал на этом митинге. Он говорил, что партия (имелась в виду социалистическая партия) заставит итальянскую буржуазию «признать, что она полностью обанкротилась, так как, объявив себя единственным представителем нации, она завела ее в тупик, из которого нация сможет выйти, лишь отказавшись от всех институтов, которые несут прямую ответственность за ее нынешнее трагическое положение».[9]

Конечно, кроме буржуазии, на политической арене действовали и иные силы. Кое-кто прикрывался радикальной фразой, в числе их были так называемые «непримиримые», «непримиримые революционеры», не желающие идти ни на какой компромисс с кем бы то ни было. По их мнению, рабочий класс должен был занимать позицию стороннего наблюдателя происходящих событий, ожидая, когда пробьет его время.

Нет, говорил Антонио, это порочная позиция. Ведь пока непримиримые упиваются своей непримиримостью, их политические противники сами создают «свое время», сами готовятся к неминуемым классовым боям!

Впрочем, не стоит думать, что молодой социалист Грамши уже тогда, осенью четырнадцатого года, лучше всех других знал, как поступать и что именно делать. Это было не так. До нас

дошла первая опубликованная им статья из «Гридо дель Пополо» от тридцать первого октября девятьсот четырнадцатого года. Она озаглавлена «Действенный и активный нейтралитет». Антонио Грамши нападает на формулу «абсолютного нейтралитета». Он показывает, что эта формула обрекает рабочие массы на пассивное выжидание, на полнейшее бездействие. Но статья свидетельствует о том, что империалистический характер войны еще не был осознан молодым туринским социалистом. Нельзя, естественно, требовать невозможного и ожидать, что все поступки героя нашей книги всегда и во всех случаях жизни будут нести на себе печать полнейшей непогрешимости и безошибочности. Грамши не был каким-то боговдохновенным существом, озаренным свыше. Его поступки и действия во многом обуславливались настроениями тогдашней итальянской молодой интеллигенции, пусть даже самого левого ее крыла. В канун вступления Италии в войну и вскоре после ее начала позиции молодых итальянских социалистов отнюдь не отличались ясностью и последовательностью. Многие молодые социалисты пошли добровольцами — Пальмиро Тольятти, например. И осознание империалистического характера войны и необходимости антивоенных действий пролетариата пришло гораздо позже. Другое дело, что, осознав все это и заняв однажды правильные позиции, ленинские позиции по вопросу о войне, лучшие из молодых итальянских социалистов — Грамши и Тольятти — уже навсегда остались верны этим новым, этим единственно правильным позициям.

А вскоре после появления в печати его первой статьи Антонио Грамши 11 ноября 1914 года сдает последний экзамен в университете и перестает его посещать. По-видимому, о научной карьере придется забыть. Студент-филолог, некогда тихий и вдумчивый книгочий, становится борцом за дело угнетенных, революционером-профессионалом.

19 мая 1915 года рабочие Турина объявляют забастовку. Забастовка эта всеобщая, она охватила все категории тружеников.

Против рабочих брошена кавалерия. Убит Карло Беццини, юный рабочий. Однако трудящиеся не запуганы. И они не прекратили бы борьбу, если бы не двойственная позиция социалистических руководителей. Обсудив вопрос во всех аспектах, они принимают поистине соломоново решение: руководство-де предоставляет отдельным федерациям свободу самим определять свое отношение к борьбе против предстоящего объявления войны!

В рабочих кружках Турина, где Антонио вел пропагандистскую работу, читал лекции, вел дискуссии, выступал

с докладами, — вот в этих рабочих кружках Турина его и заметил Джачинто Менотти Серрати, главный редактор «Аванти!» после предательства Муссолини. Серрати и предложил Антонио Грамши занять место редактора туринского социалистического еженедельника «Гридо дель Пополо», то есть «Клич народа».

Грамши, как известно, в течение ряда лет сотрудничал в нем, но теперь он не просто сотрудник, он редактор, и у него есть свой кабинет (в помещении местной секции социалистической партии), но это отнюдь не место для уединения: в кабинете Грамши всегда полно народу и дым коромыслом: рабочие, студенты, передовая боевитая молодежь — прямо паломничество друзей!

Грамши начинает понимать всю порочность установки руководства Итальянской социалистической партии: «Не участвовать в войне и не саботировать ее». И как только он смог ознакомиться с позицией Ленина, он присоединился к ней. И в дальнейшем действовал и мыслил, уже исходя из ленинской формулировки: «Превратить войну империалистическую в войну гражданскую, свергнуть империалистическое правительство в своей стране».

Антонио Грамши стремится вступить в тесный контакт с руководителями революционных течений международного рабочего движения и, конечно, в первую очередь с большевиками-ленинцами. Осуществить эту задачу нелегко.

И скромный рабочий стол Грамши завален революционными изданиями, поступающими со всех концов земли и написанными на языках всего мира. Вот когда ему пригодились его из ряда вон выходящие лингвистические способности!

Антонио разыскивает статьи Ленина (или хотя бы упоминания о позиции Ленина) в иностранных журналах, порой окольными путями попадающих в Турин. Он организует перевод и распространение статей Ленина.

Он становится душой этого замечательного дела. Слово Ленина, статьи Ленина — это и было то самое новое слово, которого так ждали итальянские труженики. Это слово воодушевляло и вдохновляло их в исполинских классовых битвах послевоенных лет.

В сентябре 1914 года, когда война уже бушевала в большей части Европы, но Италия была еще юридически нейтральна, в редакцию «Аванти!» на имя Джачинто Менотти Серрати пришло письмо.

«Речь идет о письме, — рассказывает об этом сам Серрати, — состоявшем из нескольких листков, написанных мелким и ровным почерком, без полей и без поправок, быстрой и уверенной

рукой. На письме была подпись: Ленин. Оно призывало социалистов всего мира решиться на энергичное, позитивное, немедленное выступление против войны».[10]

Но Джачинто Менотти Серрати с искренним огорчением продолжает: «Призыв Ленина остался без ответа с нашей стороны, хотя мы и организовали встречу в Лугано. Это была жалкая, узкая встреча одних только итальянских и швейцарских социалистов, опубликовавших совместное заявление об империалистическом характере войны; мы встретились с Лениным только в сентябре 1915 года в Циммервальде».[11]

А вторая встреча итальянских социалистов с Лениным состоялась в Кинтале, в апреле 1916 года.

В том же году в приветствии съезду Итальянской социалистической партии В. И. Ленин писал:

«Представители нашей партии работали вместе с представителями вашей партии в Циммервальде и Кинтале. И единственным серьезным разногласием, которое разделяло нас, было разногласие о неизбежности и необходимости раскола с социал-шовинистами, т. е. социалистами на словах и шовинистами на деле, именно: всеми теми, кто представляет или оправдывает «защиту отечества» в настоящей империалистской войне, кто прямо или косвенно поддерживает «свое» правительство и «свою» буржуазию в этой реакционной, разбойнической войне из-за дележа колоний и из-за господства над миром».[12]

Манифест Кинтальской конференции, обращенный ко всем трудящимся, гласил: «Способствуйте всеми имеющимися у вас в распоряжении средствами скорейшему окончанию человеческой бойни!

Требуйте немедленного прекращения войны. Поднимайтесь на борьбу, разоряемые и умерщвляемые народы!»[13]

Серрати безоговорочно поддержал тогда, весной, в Кинтале тезисы Ленина, другие же итальянские делегаты выступали с рядом оговорок.

Но это было в Швейцарии, а теперь перед Серрати стоял вопрос, как сообщить труженикам Италии об этих решениях.

В префектуру на предварительное визирование пошла невиннейшая вторая полоса «Аванти!». Цензорскому оку было решительно не к чему придраться.

А в типографии Серрати держал наготове набор второй полосы, радикально отличающейся от той, которую он направил на визу. Эта новая вторая полоса посвящена была — разве может быть иначе?! — решениям Кинтальской конференции. Виза цензуры получена, и Серрати с легким сердцем отправляет в

печать заранее заготовленный набор, а невинный текст «для цензуры» тут же отправляется прямехонько в переплавку.

Номер с новой второй полосой разлетелся из Милана по всей Италии.

Естественно, он прибыл и в Турин и был там весьма внимательно прочитан всеми, кому его следовало прочесть, и уж конечно, с ним ознакомился Антонио Грамши.

Восстание в Турине

Февральскую революцию в России восторженно встретил простой народ Италии. Газеты были заполнены зачастую сбивчивыми и противоречивыми сообщениями из далекой России. Буржуазные газеты обливали грязью имя Ленина, не останавливаясь перед самой гнусной клеветой.

Против клеветников первой выступила газета «Гридо дель Пополо» (29 апреля 1917 г.), одним из редакторов которой был Антонио Грамши. В редакционной статье говорилось:

«Ленин — это наиболее социалистический, наиболее революционный из вождей русских социалистов. Он представляет среди русских социалистических партий ту партию, которая наиболее глубоко знает нужду и тревогу, разделяет стремления и надежды мирового пролетариата вообще, итальянского пролетариата в частности… Совершенно понятна поэтому ярость, которую Ленин вызывает у буржуазной и консервативной печати, так же как логична наша глубокая симпатия к Ленину. Мы рады в братской солидарности разделять с ним оскорбления и брань, которыми тщетно пытаются очернить его благородный облик».[14]

Это выступление поддержал главный редактор социалистического органа «Аванти!», старый революционер, честный, хотя и не всегда последовательный, Джачинто Менотти Серрати.

«Националистическая клевета, — писал он, — избрала своей мишенью Ленина. Честнейший человек, необычайной чистоты и силы, в течение многих лет являющийся лидером русского рабочего социалистического движения, представлявший и представляющий революционную Россию в бюро социалистического Интернационала, человек, написавший замечательные страницы, непревзойденные по своему теоретическому уровню и высокой идейности, в течение многих лет являвшийся строжайшим и скрупулезнейшим распорядителем крупнейших фондов, собранных русскими революционерами для подготавливавшегося ими великого дела, — этот человек вдруг стал агентом кайзера. Его непримиримость и упорство в борьбе против любых форм сотрудничества с буржуазией пытаются использовать как доказательство его измены. Ленина преследует Антанта, пытающаяся играть на националистических чувствах. Выдвинутые против него клеветнические обвинения состряпаны теми, кто рядится в чистые ризы воинствующего демократического идеализма. Мы решительно заявляем о своей полной солидарности с Лениным, мы верим, что он одержит

победу над клеветниками не столько ради себя самого, сколько ради русского пролетариата, делу раскрепощения которого он посвятил всю свою жизнь».[15]

Это были серьезные и строгие слова, великолепная отповедь итальянским сторонникам Керенского и компании.

В июле семнадцатого года Временное правительство направило в Италию делегацию Петроградского Совета. Посылка этой делегации была связана с подготовкой конференции в Стокгольме. Там, в Стокгольме, предполагалось убедить правительства Антанты и социал-демократические партии союзных стран, что Россия останется на стороне Антанты. А покамест в Турин прибыли два петроградских меньшевика — Гольденберг и Смирнов. Туринская квестура на этот раз проявила массу предупредительности и даже разрешила провести митинг не в закрытом помещении, не в зале Палаты труда, а на открытом воздухе, на площади перед квестурой. Делегаты Петросовета держали речь с балкона. Огромные толпы народа, приветствуя их, кричали: «Да здравствует Ленин!» Петроградские меньшевики были буквально ошеломлены, они не ожидали, что имя Ленина настолько популярно в Италии. Такие же сцены происходили и в других итальянских городах по пути следования делегации. Нельзя сказать, чтобы это было очень приятно гостям из Петрограда, — популярность ленинских идей в массах трудящихся Италии путала все их карты.

Антонио Грамши присутствовал на этом памятном митинге и написал о нем.

Недовольство итальянских рабочих усиливалось, волнения учащались. Все популярнее становился лозунг: «Сделать в Италии то, что русские сделали в России». И хотя у рабочих и не было правильного политического руководства, хотя Итальянская социалистическая партия в решающие моменты самоустранилась от руководства массами, трудящиеся были готовы драться за свои права!

Тем временем продовольственное положение становилось все более угрожающим; у хлебных лавок выстраивались длинные хвосты, в них приходилось ежедневно простаивать по четыре-пять часов, чтобы получить крохотный кусок хлеба. В массах назревал гнев.

А 22 августа в Турине вовсе не оказалось хлеба. И рабочие в знак протеста стали бросать работу. Сперва на одном заводе, потом на другом. Забастовки эти не оказались изолированными, они почти мгновенно переросли во всеобщую стачку.

На следующий день, 23 августа, на улицах Турина начали вырастать баррикады. Кварталы, занятые рабочими, были

ограждены волчьими ямами и колючей проволокой. Сквозь эту проволоку был пропущен ток высокого напряжения. На какое-то время рабочие районы Турина стали неприступными.

Население штурмом брало продовольственные магазины. Восстание длилось четыре дня. Рабочие героически отражали атаки полиции и воинских частей. Но восстание было сломлено, рабочие кварталы залиты кровью. Причиной неуспеха было, конечно, отсутствие какого бы то ни было политического руководства, сугубая стихийность восстания. Движение не было поддержано в других городах Италии и, естественно, оказалось обреченным на провал.

Это был тяжелый жизненный урок. Но одно стало совершенно ясно — назревала подлинно революционная ситуация, и, может быть, именно в эти дни молодой социалист Антонио Грамши постиг с исключительной ясностью и четкостью, насколько велика необходимость в создании подлинной революционной партии рабочего класса!

Среди предводителей восстания были и рабочие-социалисты, но они не нашли поддержки в руководящих органах своей партии. Восставшие действовали вразброд, вместо того чтобы попытаться захватить центр города, они оставались в предместьях; действия их были лишены единой цели. У восставших были только винтовки, ручные гранаты и пулеметы. Правительственные войска ввели в действие артиллерию и тяжелые броневики. Быть может, если бы войска, или хотя бы часть их, перешли на сторону восставших, события приняли бы иной оборот. Однако солдаты поверили клеветническим утверждениям буржуазии, будто бы восстание организовано немцами.

Социалистическая партия была захвачена врасплох. Деятели ее растерялись. Вот что говорил на суде Барберис, один из руководителей туринских левых социалистов:

«В августовских событиях, не организованных партией, я не принимал участия. О погромах лавок я узнал в трамвае, по пути на почту. Я тут же решил вернуться назад, ибо понимал, что если окажусь в поле зрения полиции, то буду немедленно арестован».

Откровенные признания Барбериса обнародовала «Аванти!» 13 июля 1918 года — спустя год без малого после событий.

А в самый разгар восстания цензура не разрешала газетам печатать какие бы то ни было сообщения о туринских делах. И события эти, естественно, не получили широкой огласки и должного разворота. Официальные данные о количестве убитых и раненых, опубликованные спустя некоторое время после событий, говорили о семидесяти убитых и нескольких десятках раненых.

По другим сведениям, убитых было пятьдесят, а раненых более двухсот. В некоторых источниках сообщается даже о пятистах убитых и двух тысячах раненых, но это, по всей вероятности, непроверенные цифры…

Да, руководство социалистической партии в целом осталось безучастным. Оно ничем не помогло восставшим. И все-таки один из наиболее видных деятелей партии — Джачинто Менотти Серрати — сделал все, что мог. Он предпринял героическую попытку пробраться в Турин, чтобы принять участие в вооруженной борьбе хотя бы как рядовой боец. Он не мог вычитать о туринских событиях в газетах; этому, как уже сказано, препятствовала цензура военного времени. Откуда же узнал Серрати о том, что в Турине происходит нечто из ряда вон выходящее? Очень просто: из слухов, слухи циркулировали в народе, и никакими силами правительство не могло воспрепятствовать их распространению. «Аванти!» выходила в Милане. И вот редактор «Аванти!» садится в Милане в поезд, идущий в Турин. Из предосторожности он сходит с поезда в Кивассо, считая, что в Турине вокзал непременно должен быть оцеплен полицией. Между Кивассо и Турином в обычное время ходил трамвай, однако оказалось, что трамвайное движение прекращено. Остается одно — идти пешком в Турин. Что Серрати и сделал!

Главный редактор «Аванти!» с трудом добрался до центра Турина, был там опознан карабинерами и препровожден в их казарму. Карабинеры запросили распоряжений от туринских властей. Последние приказали отправить редактора «Аванти!» в Милан. Что и было сделано…

После подавления туринского восстания Серрати вместе со многими другими был арестован и предан суду военного трибунала. Ему было предъявлено обвинение в косвенной государственной измене. «На митинге в честь русской революции вы выкрикивали не только «Да здравствует русская революция!», но и «Да здравствует итальянская революция!» — заявил прокурор. И Серрати ответил: «Подтверждаю полностью».

Военный трибунал признал его «морально ответственным» за туринские события и приговорил к трем с половиной годам заключения за «косвенную измену».

В тюрьме Серрати переводил роман Барбюса «Огонь». Статьи Серрати появлялись в «Аванти!» регулярно, но под странным псевдонимом: «№ 48». Таков был номер камеры, в которой содержался старый Джачинто Менотти. Директор тюрьмы просил Серрати передавать статьи в «Аванти!» хотя бы через него, директора, но только не разлагать служащих тюрьмы…

Осужденные по делу о туринском восстании пробыли в тюрьме года полтора. Освободила их амнистия девятнадцатого года, послевоенная амнистия; итальянские буржуа, упоенные победой, прощали недругам своим…

Туринское восстание подавляла так называемая бригада «Сассари», она состояла почти исключительно из крестьян провинции Сассари. Правительство рассчитывало на рознь, а порою и на антагонизм между рабочими развитого индустриального севера и нищими мужиками-южанами. И в августе семнадцатого года эти расчеты оказались правильными.

Вот эти-то раскол и рознь между рабочими севера и крестьянами юга и были основным орудием политического господства буржуазии. И великой заслугой Антонио Грамши было то, что он исключительно ясно понимал это и сделал своей целью устранение этого антагонизма. И не только устранение антагонизма, а и достижение единства, создание революционного союза севера и юга, революционного союза рабочих и крестьян!

Еще в дни восстания рабочий-дубильщик, сард, уроженец Сассари, был послан восставшими поговорить с солдатами-сардами и узнать, каковы их настроения… Рассказ этого отважного посланца Антонио Грамши привел много лет спустя в своей, к сожалению, незавершенной работе «Некоторые аспекты южного вопроса». Работа эта вопреки сухому названию своему читается, как роман. Итак, вот что поведал этот самоотверженный парень:

«Я подошел к биваку, разбитому на одной из площадей, и завел разговор с молодым крестьянином, который радушно выслушал меня, потому что я, как и он, был родом из Сассари.

Зачем вы пришли в Турин? Что вы собираетесь здесь делать?

Мы пришли, чтобы стрелять в господ, которые устраивают забастовки.

Но ведь устраивают забастовки не господа, а рабочие, а они — бедняки.

— Здесь все господа: все носят воротнички и галстуки, зарабатывают по тридцать лир в день. Я знаю, кто такие бедняки, и знаю, как они одеты; у нас вот в Сассари действительно много бедняков. Все мы мотыжники-бедняки и зарабатываем полторы лиры в день.

Но я тоже рабочий и бедняк.

Ты беден потому, что ты сардинец.

— Но если я буду бастовать с другими, ты будешь стрелять в меня?

Солдат немного подумал, потом сказал, положив мне руку на плечо:

— Слушай, когда ты забастуешь вместе с другими, оставайся дома!»

Да, так были настроены очень и очень многие. Но от первых сомнений в справедливости возложенной на них карательной миссии, от первых колебаний было еще очень и очень далеко до осознанного и целенаправленного протеста. И не мудрено, что восстание в Турине было подавлено сравнительно без особенных усилий.

Итак, стихийное восстание, к которому социалистическое руководство было полностью непричастно, потерпело неудачу. Нужно было принимать какие-то новые меры, чтобы оживить работу в массах, чтобы сплотить их вокруг руководства. Передовые туринские рабочие в эти нелегкие дни признали Антонио Грамши своим подлинным руководителем. Он был избран секретарем туринской секции социалистической партии, секретарем секции социалистической партии в «самом красном городе Италии».

Он взвалил на свои плечи великое бремя, но он знал, на что идет, знал, что время потребует от него жертв, и заранее был согласен и готов принести эти жертвы. Он чувствовал себя строителем нового мира, и он знал, что это высокое звание, ибо «первые камни нового мира, пусть еще грубые и неотесанные, прекраснее заката агонизирующего мира и его лебединых песен».

Капоретто и после

Многие считали, что в развитии событий под Капоретто осенью семнадцатого года всему виной был итальянский главнокомандующий генерал Кадорна. Главнокомандующий был уверен, что противник непрерывно будет наступать на Тренто. Всю войну прождал он этого удара. А наступление началось на Изонцо. Предполагалось, что тройная линия укреплений послужит для австро-германцев непреодолимой преградой. Послужит, если уж они решатся наступать там, где, по мнению генерала Кадорны, им наступать отнюдь не полагалось. Австро-германцы же почему-то решились. Так они спутали все стратегические карты непредусмотрительного итальянского генерала.

Командование было своевременно предупреждено, но Кадорна, должно быть, не слишком поверил данным разведки.

Наступление началось 24 октября 1917 года. У австро-германцев был известный численный перевес.

Прошло полтора часа после начала атаки. Первая линия итальянской обороны была прорвана. Потом прошло еще полтора часа. Теперь была прорвана уже вторая линия, в трех километрах от первой. Самое удивительное, что итальянцы не сопротивлялись, они и не думали сопротивляться. Они попросту покидали позиции, и австрийцы в походном темпе пересекали линию фронта. Наступил полдень. Все три линии укреплений были прорваны. И австро-германские войска хлынули в долину Изонцо. К четырем часам они прошли целых пятнадцать километров и захватили местечко Капоретто — пункт, в котором сходились все коммуникации северного фронта. Итак, в линии фронта была пробита брешь, брешь эта все время расширялась, она достигла тридцати километров в ширину, а в глубину — от трех до пятнадцати километров.

Но страшны были не только и не столько масштабы прорыва, сколько то, с какой легкостью вдруг начал рушиться итальянский фронт. Целые бригады, не сделав ни единого выстрела, покидали свои позиции. Отступление распухало, как снежная лавина; 25–26 октября почти вся вторая армия отступила в глубь страны.

Сами победители были, казалось, поражены легкостью одержанной победы. Захваченные ими итальянские укрепления были бетонированы, снабжены бомбоубежищами, крытыми переходами.

«Здесь, как и в других местах, победители вновь спросили себя, как могли итальянцы оставить такие позиции. Это можно

объяснить лишь падением боевого духа во вражеском стане», — писал впоследствии генерал Крафft фон Дельменсинген.

Надо сказать, что он был не далек от истины. Армия уходила в беспорядке. Бросая орудия, бросая боеприпасы. Мосты через горные реки частью оказались нетронутыми — и благодарные австро-германцы преспокойно перешли по ним. Голодные итальянские солдаты, отступая, громили хлебные лавки и продовольственные склады. Никакие убеждения и увещания не действовали. Некий священник пытался уговорить солдат вернуться на позиции.

«Мы идем домой… война окончена… К рождеству все будут дома», — отвечали они ему.

«Эти канальи хотят мира любой ценой», — записал свидетель отступления, офицер, настроенный, видимо, не слишком радикально.

Проходя по улицам прифронтовых местечек, солдаты кричали: «Эй, буржуйчики, война окончена, идите на Триест сами!»

В последние дни отступления штабная автомашина, в которой ехали генерал Кадорна с адъютантом, натолкнулась на толпу солдат, уходящих с фронта. Их, должно быть, было много тысяч. Это были солдаты, одни солдаты, без офицеров. Впрочем, и без оружия. Без знаков различия. В руках у них были палки, пастушеские посохи. Многие покуривали трубки. И казалось, что они только что покинули до смерти осточертевшую им работу и вот теперь мерным шагом и со спокойной совестью возвращаются домой. Отряды, еще сохранившие военный строй, проходившие под командой офицеров, вызывали у толпы беглецов взрывы гнева. Отступающих в порядке подозревали в том, что они собираются продолжать войну. Им кричали: «Изменники, штрейкбрехеры, мы заключили мир — о войне нет больше речи!»

Австро-германские части входят в Удине. Это происходит 28 октября. А накануне из Удине эвакуировалась ставка Кадорны. Делать нечего — еще немного, и будут окружены новые участки итальянского фронта, и вот генерал Кадорна отдает приказ об отступлении трех других армий (первой, третьей и четвертой). Нужно было спасать все, что еще можно было спасти. А в Милане и в Риме распространялись уже упорные слухи о том, что король готов отречься от престола. В правящих кругах серьезно обсуждалась возможность революции. Когда у Джолитти спросили, что он думает о сложившемся положении вещей, старый политикан ответил: «Будет ли революция!.. Если рабочие поднимутся, король может отречься от престола и передать герцогу Аоста честь заключения сепаратного мира». Но подобная

перспектива совершенно не устраивала страны Антанты. Английская охранка мобилизовала всех своих небескорыстных друзей в Италии (и в первую очередь — Муссолини). И Муссолини приказал своим людям, чтобы они проучили всех, кто решится участвовать в антивоенных демонстрациях на улицах Милана. Он выразился даже еще резче — его люди готовы «разбить головы» всем противникам войны.

И вот наступает день, когда итальянские войска переходят реку Пиаве. Австрийцы не стали форсировать Пиаве. Наступление их выдохлось. И 15 ноября они сами объявили, что наступление окончено. Но можно ли удержаться на Пиаве? Этот кошмар мучил итальянское командование. Генералы серьезно сомневались в том, что им удастся удержаться на новом рубеже. Относительно настроений солдатской массы они после всего происшедшего не могли уже питать никаких иллюзий. Дни Капоретто и были днями наибольшего в войну обострения революционного кризиса. Исполинский революционный заряд, революционный потенциал, который несла в себе усталая от войны и разгневанная солдатская масса, мог быть превращен в действие, мог вызвать революционный взрыв. Но взрыв этот в те дни еще некому было возглавить. В руководстве социалистической партии не было единства и не было человека, который мог бы взять инициативу в свои руки. Но все-таки вопрос о возможности непосредственной борьбы пролетариата за власть был впервые поставлен именно в те дни, в ноябре семнадцатого года, когда до Италии докатилось эхо залпа «Авроры». И поставили этот вопрос два человека — инженер Амадео Бордига и журналист Антонио Грамши.

Это было в дни Капоретто! Социалистическая партия предполагала провести свой чрезвычайный съезд в Риме. Однако это было запрещено правительством. Тогда решили провести съезд во Флоренции. Провести тайно.

Но организационный комитет совершил непростительный промах. Первое заседание решено было провести прямо в помещении социалистической федерации.

Трудно сказать, на что рассчитывали флорентийские конспираторы, но только вместе с делегатами (а их было человек сорок всего) явилась целая орава карабинеров и полицейских.

Делегатам было предложено поговорить с префектом. Префект Флоренции заявил, что закроет заседание после полуночи.

До полуночи времени было достаточно, и делегаты решили обсудить положение.

Присутствовали Серрати, Ладзари, Фортикьяри, Кароти, Грамши и Бордига, не говоря о лицах, менее заметных в партии.

Совещание это было поневоле краткосрочным, почти молниеносным. Но это было первое появление Грамши и его грядущего антагониста — Бордиги, так сказать, на всеитальянской трибуне, первая их акция в масштабах страны.

Запомним дату флорентийского совещания — 18 ноября 1917 года.

А пока вернемся к дням Капоретто, Результаты наступления были сокрушительными. Австро-германцы продвинулись на сто двадцать километров. Потери итальянской армии были громадны. Она потеряла 300 тысяч одними только сдавшимися в плен. Французы и англичане явно всполошились. И было отчего! На итальянский фронт прибыл французский главнокомандующий генерал (будущий маршал) Фош. Прибыл также английский генерал Робертсон. Но дело не ограничилось одними только военными, хотя бы и в самых высоких чинах. Италию поспешно навестил глава английского правительства Ллойд-Джордж. Прибыл также и французский премьер Пенлеве. Видимо, англичанам и французам было уже не до тонкой дипломатии: они с места в карьер выложили свои требования: сместить Кадорну, сместить все итальянское верховное командование! Только при этом условии страны Антанты соглашались оказать Италии необходимую помощь. Итальянским властям было уже не до престижа. Следовало подчиниться диктату. И они подчинились. Был смещен Кадорна. Был снят также и его начальник штаба — генерал Порро. Главнокомандующим был назначен генерал Диац. Кое-кто из пылких патриотов сокрушался, что новый итальянский главнокомандующий носит явно не итальянскую (скорее испанскую) фамилию. Но дело уже было сделано. На итальянский фронт вскоре прибыло двенадцать английских и французских дивизий. Положение было спасено, катастрофа ликвидирована. Но многое в Риме изменилось. Правительство Бозелли пало еще 25 октября, едва только пришли первые известия о поражении. Новым главой правительства стал Орландо. Против этого мало кто мог возразить — считалось, что это человек одаренный и деятельный. Но нужно было бросить кость и нейтралистам-буржуа, которых было немало в тогдашней Италии. Нужно было ввести в состав правительства человека, которого нейтралисты сочли бы своим. И в правительство вошел новый министр финансов Нитти, в прошлом убежденный нейтралист, близкий к Джолитти и джолиттианцам. Назначение это удовлетворило определенные круги. Возможно, что в какой-то мере оно было воспринято как залог быстрейшего достижения какого-либо реального выхода из создавшейся коллизии. Население Италии, естественно, все меньше и меньше верило в возможность

победоносного завершения войны. И тут стоит рассказать об одном эпизоде, забавном и грустном в одно и то же время. В самый разгар событий под Капоретто в городе Брешии по каким-то соображениям, должно быть научно-археологического порядка, из местного музея без ведома префекта или каких бы то ни было иных городских властей на глазах у населения была вынесена статуя Ники — Крылатой Победы.

И вот всю Брешию охватила паника. Говорят, что итальянцы ненужно-суеверны. Но едва ли необходима была чрезмерная доза суеверности, чтобы усмотреть в выносе Крылатой Победы из городского музея некий скверный знак, некое дурное предзнаменование! Уж очень все в точности совпало!

Слухами полнилась в эти дни итальянская земля. Слухами самыми разноречивыми. Говорили, что командованию было известно о намерении австро-германцев перейти в наступление еще за месяц до начала событий. Говорили, что за две недели до наступления итальянскому генштабу было уже известно, что наступление это будет направлено в сторону Капоретто. А там была оставлена всего одна линия. В тыловых траншеях не было ни души. Маневренной резервной армии не оказалось, а предполагалось, что она непременно должна быть введена в действие в подобном случае. Уверяли, что всему виной была скверная погода, туман. И что наступлению предшествовали непрерывные газовые атаки. И что у итальянцев не было подходящих противогазов. И что груды итальянских трупов усеяли поля в районе прорыва. И еще что неприятельские войска в районе главного натиска были вчетверо многочисленнее итальянских. А еще уверяли, что уже 24 октября к трем часам дня верховное командование было уже изолировано. Так все это было или не так — трудно проверить. Впрочем, Кадорна (а его сместили и перебросили на чисто декоративный пост в верховном межсоюзническом органе) отказывался признать себя побежденным. «Я, — уверял он, — не генерал, потерпевший поражение, я жертва предательства, вместе со мной была предана Италия. В течение двух дней я потерял шестьсот тысяч человек. За первой линией были расположены пять сильно укрепленных линий!»

Генерал Кадорна стремился сохранить лицо. Степень его ответственности за происшедшее, конечно, трудноустановима. Но главное было уже не в нем. Капоретто было уже пройденным этапом, пренеприятным событием, которое с превеликим трудом удалось как-то замять, избыть, если подобного рода глаголы применимы к свершениям исторического порядка. А замяв и избыв, старались как можно быстрее позабыть и не вспоминать

более.

Иные задачи становились в порядок дня. Итальянская буржуазия (интервенционистского толка) выдержала, что называется, характер, не сдала позиций. Нейтралистов удалось как-то приструнить, замазать им рот. Союзники спасли положение на фронте. Но итальянская армия еще не оправилась от сокрушительного поражения. На это потребовалось время. И немалое. Целый год.

Фиуме и прочее…

4 ноября 1918 года, вечером, специальный бюллетень генерала Диаца сообщил о заключении перемирия. Победа! Ликованию не было границ.

Началась демобилизация. Шла она медленно, видимо, власти опасались внезапностей и эксцессов. Солдаты расходились по домам. Нельзя сказать, чтобы они были обременены военной добычей. Но у каждого из них был так называемый «пакет одежды» — смена белья и отрез на костюм, завязанные в бумажный платок, на котором была изображена карта Италии, нет, не просто карта Италии — на ней особо были выделены Тренто и Триест, — словом, демобилизованные были наделены не только личной сменой белья, но как бы и индивидуализированными территориальными притязаниями.

Правда, пока еще не было известно, получит ли Италия все, что надеялись получить ее тогдашние правители.

А покамест начались банкеты. Было произнесено множество пышных фраз, много говорилось о величии Италии. Говорилось о ее славной истории, о великом прошлом, являющемся залогом блестящего и славного грядущего, и особенно о величайших жертвах итальянского народа, о крови, щедро пролитой им, и о том, что, конечно же, эти жертвы должны быть, непременно должны быть вознаграждены по справедливости.

Кое-какие территориальные притязания Италии были в конце концов удовлетворены. Но далеко ее все. Пожалуй, самым главным (и наиболее болезненным, наиболее уязвляющим национальную честь в случае отказа) было требование о присоединении к Италии области Фиуме — Фиуме, ныне Риеки, на Далматинском побережье Адриатики.

Область эта до момента перемирия принадлежала Австро-Венгрии, и вот теперь руководители итальянской политики жаждали ее получить. Они доказывали исконную принадлежность этих районов Италии, во всяком случае преобладающее культурное влияние итальянцев в этом районе. Представитель Италии на мирных переговорах в Версале Орландо неустанно напоминал другим членам «Большой четверки» — несговорчивому Вильсону, валлийскому хитрецу Ллойд-Джорджу и «тигру» Клемансо — о том, что Фиуме должен, непременно должен стать итальянским. Но Вильсон, Ллойд-Джордж и Клемансо не шли ни на какие уступки. «Фиуме — нет!» — отвечали они. И Орландо, ловкий политик, обходительный и любезный человек, само обаяние, так и не сумел ничего

противопоставить их настойчивости. Фиуме оставался в руках южных славян.

Все эти обстоятельства не могли не сказаться на размахе и накале патриотических настроений в самой Италии. Официальные политики и профессионалы дипломаты были вынуждены ограничиваться словесными просьбами, мольбами и укорами. И тогда наступил черед политиков иного склада, если так можно выразиться — политиков-дилетантов. На подмостки истории снова вышел уже знакомый нам Габриэле Д'Аннунцио.

И вот теперь, в 1919 году, поэт и авиатор Д'Аннунцио сформировал отряд легионеров. Нет, итальянской делегации на Парижской мирной конференции не удалось добиться присоединения Фиуме к Италии. Дележ добычи шел, что называется, по рангу. Италия явно оставалась за флагом. Габриэле Д'Аннунцио решил исправить дело. Во главе легионеров он самолично захватил Фиуме.

Д'Аннунцио всерьез возомнил себя чем-то вроде Джузеппе Гарибальди. Находясь в Фиуме, он выдвинул предложение о «походе на Рим», он провозгласил также «Хартию Куарнаро» — документ, определявший строй будущей «Республики Фиуме», республики, которую он намеревался основать.

Нитти, тогдашний председатель совета министров, всполошился. Он принял всевозможные меры, чтобы взбалмошному поэту, явно метившему в Гарибальди и Отцы Отечества, никоим образом не удалось осуществить свои далеко идущие планы. Попутно выяснилось, что поведение Д'Аннунцио не приводит в восторг короля Италии, тем паче что отпрыски королевского дома — герцог и герцогиня д'Аоста явно удили рыбку в мутной воде, намереваясь извлечь для себя выгоды из экстравагантных деяний поэта, — герцог то и дело ездил в пограничную зону, а герцогиня д'Аоста отправилась в Фиуме, чтобы поплакать над телом убитого легионера, одного из верных сподвижников Д'Аннунцио.

Все это было чревато всяческими нежелательными пертурбациями, и фиумскую историю поторопились, что называется, спустить на тормозах.

Но дело-то ведь было не только в самом Габриэле Д'Аннунцио. Фиумская авантюра была явным знамением времени. Империалистические круги итальянской буржуазии широко поддержали ее. Повторялась предвоенная история, история с «интервенционистским движением», использованным для давления на парламент и правительство.

Тогда интервенционистам удалось добиться вступления Италии в войну, а ведь подавляющее большинство населения

было против такого вступления, причем антивоенные настроения были сильны не только среди пролетариата и крестьянства, но также и в буржуазных кругах.

А теперь, после войны, на арене были все те же прежние интервенционисты — они были преисполнены решимости осуществить свои планы чего бы то ни стоило, пренебрегая парламентом, действуя через голову правительства. Более полувека парламентское государство служило интересам итальянской буржуазии. Теперь империалистические интересы Италии не могут быть обеспечены при наличии существующих форм государственного устройства. Стало быть, надо искать какие-то иные формы.

Так думали наиболее агрессивные группировки итальянской буржуазии.

Наиболее проницательные деятели рабочего класса не проглядели начала этого процесса. Антонио Грамши посвятил особую статью в «Ордине Нуово» (тогда еще еженедельнике) шумной авантюре Д'Аннунцио. Он писал: «Авантюра Д'Аннунцио выявила и политически оформила определенные настроения, широко распространенные и имеющие глубокие корни».[16]

Грамши приходит к выводу о том, что уже сам по себе факт авантюры Д'Аннунцио говорит о слабости парламентского государства, о том, что в рамки этого государства уже не укладывается экономическая и социальная жизнь Италии.

Империалистическая буржуазия, не надеясь на армию и полицию, искала какие-то иные возможности влиять на массы там, где они еще повинуются власть имущим, и подавить, если потребуется, революционное движение этих масс.

Обычными способами, не выходящими за пределы буржуазной законности, этого уже нельзя было добиться. И вот итальянская реакция лихорадочно озирается в поисках новых возможностей идеологической обработки масс и подчинения их.

По-видимому, полагают идеологи реакции, какая бы то ни было демократическая маскировка должна быть отброшена, но можно ли это сделать безнаказанно? Так или иначе, следует найти подходящего человека. Где же он, этот подходящий человек? Где он, этот «муж судьбы»? И что же, «муж судьбы» не замедлил подвернуться.

Это был якобы левый и якобы революционный Бенито Муссолини, бывший социалист и пламенный интервенционист; пламенность его подогревалась и раздувалась иностранными державами, ибо Муссолини брал отовсюду, откуда только мог.

Наиболее проницательные из тогдашних наблюдателей не верили в левизну фашизма, они считали, что это хитрость,

рассчитанная на обман народа.

Бенито Муссолини весной 1919 года начал создавать союзы «фашо» («фашо» — это связка прутьев, ликторский пучок), союзы, которые впоследствии были объединены в фашистскую партию.

Первое собрание будущих фашистов состоялось 23 марта 1919 года в особняке на площади Сан-Сеполькро (то есть Гроба господня), № 3, в зале Миланского торгово-промышленного клуба. Оно конечно, было несколько странно, что «революционерам» охотно предоставляют свое помещение правовернейшие миланские коммерсанты. За три дня до этого собрания (20 марта) Бенито Муссолини произнес речь, в которой превозносил рабочих предприятий Франки и Грегорини, начавших 17 марта забастовку.

Начинал Муссолини с демагогии, причем рядился в социалистические одеяния. Но успешно конкурировать с социалистами он тогда еще не мог, а слишком пылкие его фразы, слишком революционные и демократические, вызывали недоверие буржуазии. Буржуазия поначалу относилась к Бенито Муссолини весьма прохладно, она выжидала.

Но Муссолини решил все-таки дать понять, чего стоят он и его друзья.

15 апреля девятнадцатого года в Милане некие таинственные «неизвестные» подожгли редакцию социалистической газеты «Аванти!».

Муссолини до поры до времени не афишировал своей причастности к этому грязному делу. Как-никак он в свое время, в бытность свою социалистом, редактировал эту самую газету. И теперь он жег все, чему поклонялся в самом что ни на есть буквальном смысле.

В какой-то мере это была работа на заказ. Конечно же, Витторио-Эммануэле Орландо, Сидней Соннино, Альдрованди Маскотти и прочие министры и дипломаты не были лично причастны к организации фашистских эксцессов — не они подожгли редакцию «Аванти!». И все-таки Орландо не мог удержаться от соблазна использовать эти события как козырь в своей игре: вот что он говорил на Парижской мирной конференции, пытаясь запугать своих коллег и оппонентов, и Вильсона в особенности, призраком революции, дабы, застращенные, они стали на путь удовлетворения территориальных претензий Италии:

«Если я возвращусь в Италию с неполным миром, могущим вызвать в Италии возмущение, это оказало бы плохую услугу всем. Если я вернусь в Италию с миром Вильсона, в Италии вспыхнет революция. Во время последних демонстраций в Риме и

в Милане выступали друг против друга две стороны… сторона большевистская, сторона отрицателей родины против стороны патриотической и фашистской. Эти последние одержали верх. Среди большевиков имелись двое убитых и пятеро раненых. Была разгромлена и сожжена редакция газеты «Аванти!». Патриотическое движение приняло мощные размеры. Если получим худой мир, эти элементы пойдут на революцию и большевики соединятся с ними, так как целью большевиков являются провокации беспорядков и революций, каковы бы ни были побудительные к тому причины, с тем чтобы воспользоваться их последствиями. В этом вы можете быть уверены. Если же Италия будет удовлетворена в своих национальных требованиях, она, разумеется, сохранит спокойствие. Я ручаюсь за это. Но если в Италии будет революция, то ввиду общего положения, царящего в мире, это создаст опасность для всех».

Впрочем, Орландо оказался плохим пророком. Может быть, он и не очень верил в те страхи, которые расписывал, может быть, он с заранее обдуманным намерением клеветал на «ужасных большевиков», пытаясь запугать кого следует жупелом большевизма, — так или иначе, реальные события развивались в дальнейшем совсем не так, как предсказывал Орландо, пытаясь сыграть на нервах своих оппонентов.

Бенито Муссолини не мог сразу же обнажить свою подлинную сущность, он неизбежно должен был рядиться в лоскутья демагогических фраз, присваивать себе лозунги социалистического характера, ибо эти лозунги лучше всего отвечали настроениям послевоенных трудящихся масс, ибо самый воздух в Италии был насыщен электричеством революции.

Массы требуют восьмичасового рабочего дня?

Извольте, Бенито Муссолини тоже за восьмичасовой рабочий день! Он и за конфискацию военных прибылей. Он и за национализацию всех, всех до единого военных предприятий. Он даже за занятие заводов — во всяком случае, когда пролетариат начал занимать предприятия, фашисты некоторое время сохраняли «благожелательный нейтралитет».

Недолго, правда, очень недолго.

Впрочем, все это было только расчетом, холодным расчетом ловчилы-политикана.

Через некоторое время Муссолини уже не находил нужным столь уж тщательно маскироваться. Наоборот, он охотно и всенародно демонстрировал свое нутро, чуть ли не публично обнажаясь.[17]

«Фашисты, — говорил он в те дни, — прибегают в

соответствии с обстоятельствами к сотрудничеству классов, борьбе классов и экспроприации классов».

И еще более знаменательная фраза вылилась из-под его пера в те дни: «Мы позволяем себе роскошь быть аристократами и демократами, консерваторами и прогрессистами, реакционерами и революционерами, легалистами и нелегалистами в соответствии с обстоятельствами времени и средой, в которой мы вынуждены действовать».

Муссолини всячески поддерживал действия Д'Аннунцио. Но, увы, поэт не оправдал возложенных на него надежд. Двенадцатого ноября двадцатого года в Раппало было подписано соглашение с Югославией. Югославия признала ряд территориальных приобретений Италии, а Италия взамен согласилась на объявление Фиуме вольным городом и согласилась очистить его от легионеров Д'Аннунцио.

Тогда начался распад легионов.

А фашизм тем временем переходил к решительным действиям. Фашисты организовали крупную провокацию в Болонье, где трудящиеся демонстрировали в честь избрания социалистического муниципалитета. Никаких элементов случайности, у фашистов все было намечено и расписано заранее, события развивались по плану: были выпущены воззвания к населению, в которых фашисты (в трогательной заботе о благе будущего поколения) объявили о сражении, которое должно было состояться в этот день, предупредив женщин и детей, чтобы они держались подальше от места (предполагаемых!) беспорядков; когда на балконе муниципалитета были водружены знамена муниципального большинства (красные знамена!) и когда появился мэр-социалист, грянули первые выстрелы. В палаццо д'Аккурцио, где происходило торжественное заседание, раздался взрыв. Это фашист бросил бомбу в зале заседания. Были ранены несколько человек. Итальянцы — люди горячие, и несколько депутатов-социалистов открыли пальбу из револьверов. В зале началось истинное побоище. Адвокат Джордани, член муниципального совета от группы меньшинства, был убит в свалке. А на площади ратуши и на ближних улицах начались схватки между рабочими и фашистами. Фашисты одержали верх. Муниципалитет, избранный свободным голосованием, был разогнан.

Полиция города Болоньи во время столкновения оставалась безучастной. А затем произвела массовые аресты активистов левых партий. Были арестованы несколько фашистов, но как раз из тех, которые явно не принимали участия в столкновении. Их тут же выпустили на волю. Зачинщиков же и пальцем не тронули.

Предупредительность болонской полиции пришлась фашистам по душе. Они сильно приободрились и два месяца спустя, в январе 1921 года, подожгли болонскую Палату труда.

Все это происходило на глазах у абсолютно бездействующей и, должно быть, не столь уж изумленной полиции.

Так вот, к началу 1921 года фашизм, бывший дотоле слабым, несконцеитрированным и организационно жалким, превратился в движение, внушающее страх и вселяющее ужас. Фашисты перешли в наступление по всему фронту.

В чем была причина внезапных успехов фашизма?

Причина эта была очень проста: фашисты «поумнели», «образумились», отказались от своих псевдореволюционных лозунгов; они ясно показали, что ничего общего ни с социализмом, ни с рабочим классом не имеют, нет, они — движение решительно антисоциалистическое, откровенно антирабочее. Вот с этого момента все консервативное государство, весь его аппарат — бюрократический, военный и полицейский — начинает активно поддерживать фашистов. Фашисты нашли свое лицо — они оказались попросту авангардом ПРЕВЕНТИВНОЙ КОНТРРЕВОЛЮЦИИ: ведь революции в Италии, той самой революции, призраком которой В. Э. Орландо пытался испугать своих неподатливых коллег, так и не произошло.

Да, революции не было, но зато был страх перед революцией, страх ополоумевшего мещанства и крупной буржуазии.

В эти самые дни, в мае двадцатого года, когда итальянский фашизм еще только поднимал голову, Антонио Грамши писал:

«За настоящим этапом классовой борьбы в Италии последует либо завоевание революционным пролетариатом политической власти для перехода к новому способу производства и распределения, позволяющему повысить производительность труда, либо бешеный разгул реакции имущих классов и правящей касты. Будут пущены в ход все средства из арсенала насилия, чтобы обречь промышленный и сельскохозяйственный пролетариат на рабский труд; будет сделано все, чтобы беспощадно разгромить органы политической борьбы рабочего класса (социалистическая партия) и включить органы экономического сопротивления (профсоюзы и кооперативы) в аппарат буржуазного государства».[18]

Итальянская буржуазия сочла, что ныне существующее государство, внешне демократическое парламентское государство, недостаточно сильно, чтобы противопоставить себя революционному движению трудящихся масс.

В сознании буржуа зреет идея террора. Насильственного подавления революционного движения.

А мелкая буржуазия, в свою очередь, искала каких-то путей, каких-то способов разрешения социальных проблем. Нельзя ли, думалось ей, создать нечто вроде «надклассовой» власти? И чтобы существующий строй остался по возможности нерушимым. Вот тут-то и подвернулся общенациональный и надклассовый Бенито. Спрос породил предложение. Товар пошел навстречу потребителю.

Лозунг «надклассового» государства попал в самую точку, оказался как нельзя более ко времени. Вот оно, это государство, сильное, могучее, авторитетное, заманчивая перспектива, просто восхитительная с точки зрения мелкого буржуа!

Бенито Муссолини объявил себя борцом за создание «великой Италии».

Парламент — слаб. Парламент — безволен. И это-де не просто слабость, это ПРЕСТУПНАЯ слабость. Парламент не желает действовать, а главное — идея действия. В ней-то вся соль. Италия непременно должна быть обновлена, обновлена во что бы то ни стало.

Ну, а кто обновит ее?

Люди. Итальянцы. Люди из всех классов общества. Доблестные. Самоотверженные. Решительные. Стоящие вне классовой борьбы. Выше партийных предрассудков. Вот с этими положениями итальянские мелкие буржуа в ту эпоху были более чем согласны.

И в самом деле, разве фашисты — это только аристократы? Только верхушка нации? Только граф Вольпи ди Мизурата? А вот сапожник, темный сапожник — и он фашист. И даже батрак из долины По! И он фашист. Вот до чего надклассовое движение!

Итак, очень многим тогда в Италии, очень многим мелким буржуа казалось, что им по пути с фашизмом, что фашизм горой стоит за интересы мелкобуржуазных масс.

Мещанин ищет денег и славы, добивается материального благополучия, — в чьих интересах на самом деле действует фашизм, мелкий буржуа не в состоянии уразуметь! Империализм, реакция — для мелкого буржуа это непонятные обобщения, искусственно созданные понятия. Для многих, очень многих людей Бенито Муссолини внезапно предстал в ореоле «спасителя нации».

Он играл на ущемленном национальном чувстве среднего итальянца — не богача и не бедняка, маленького человека, человека с улицы, обывателя, и виртуозно играл, надо сказать.

И потребовалось два десятилетия и три войны (Абиссиния, Испания, вторая мировая), чтобы развеялся этот обольстительный туман, окутанный которым Бенито Муссолини предстал некогда

очам среднего итальянского мещанина. И не только мещанина — фашисты бросались из стороны в сторону, стремясь расширить свою социальную базу, — старались дать товар на всякий вкус.

Паоло Алатри, историк-коммунист, пишет:

«В Триесте фашизм носил националистический и антиславянский характер, во Флоренции — литературно-студенческий, в тосканской деревне фашистское движение было тесно связано с земельными собственниками, в апулийской — с «маццьери»; там, где республиканцы конкурировали с социалистами, фашист принимал республиканскую окраску, в других местах — монархическую». Словом, фашизм, подобно хамелеону, менял окраску, приспосабливаясь к окружающей среде.

Начались фашистские эксцессы, невиданно жестокие, извращенные и мерзкие: людей избивали кулаками, дубинками, привязывали жертву длинной веревкой к автомобилю и волокли по дороге.

Фашисты заставляли своих противников, угодивших к ним в лапы, пить касторку в больших дозах — словом, фашизм в его итальянской версии был явлением нисколько не менее омерзительным, чем германский нацизм.

Фашисты получали поддержку от государства. Оружие с государственных складов. Транспорт, когда он бывал им нужен. Одним словом, как только власти увидели в фашизме оплот против революционного движения, они пошли навстречу фашистам.

Наиболее покладистыми, наиболее сговорчивыми и понятливыми оказались военные власти. Они специальным циркуляром известили нижестоящие инстанции о предстоящем образовании фашистских организаций на местах и о необходимости оказывать им всяческое содействие.

В борьбе против фашизма трудящиеся могли рассчитывать в те дни лишь на свои собственные силы.

Были отдельные стычки. Демонстрации, забастовки. Потом, когда первый шок прошел, зародилось новое движение — движение «Ардити дель пополо» — «народных смельчаков». В отряды «смельчаков» — «ардитов» — вступали люди разных политических убеждений. Главным было одно — решимость с оружием в руках бороться с фашистами до конца.

Социальный фронт оказался весьма широким — в отрядах были и рабочие, и батраки, и даже офицеры-легионеры из бывших приверженцев Д'Аннунцио. Но Итальянская социалистическая партия заняла в вопросе борьбы с фашизмом позицию, которую можно, пожалуй, назвать непротивленческой.

Коммунисты намеревались действовать иначе. Они собирались ответить «дисциплиной на дисциплину, силой на силу, оружием на оружие». Но единственная в стране непримиримая к фашизму партия только кристаллизовалась и делала свои первые шаги. О путях к ее созданию мы расскажем в следующих главах.

«Ордине Нуово» — журнал и движение

Серрати боится разрушения профсоюзов, кооперативов, муниципалитетов, неумелости и ошибок новичков.

Коммунисты боятся саботирования революции реформистами.

В. И. Ленин, Поли. собр. соч., т. 41, стр. 415.

«Ордине Нуово» можно перевести как «Новый порядок» или «Новый строй» — так назывался журнал, основанный Антонио Грамши и несколькими его единомышленниками в мае 1919 года. Самым старшим в редакции был Грамши — ему было двадцать восемь. Тольятти было двадцать шесть. Монтаньяне — двадцать четыре. Феличе Платоне — двадцать два. Андреа Вильонго — двадцать лет. Моложе всех был Джузеппе Аморетти.

Все это были студенты или молодые «дотторе», люди с университетским образованием. Марио Монтаньяна был среди них единственным рабочим. Монтаньяна побывал в Советской России, и вскоре после возвращения оттуда ему предложили войти в состав редакции «Ордине Нуово», стать для начала ни более ни менее как хроникером по вопросам профсоюзного движения. Предложил ему это Антонио Грамши. И Марио Монтаньяна даже не пытался отказываться. Он только усомнился на миг в своих литературных и прочих способностях. И робко спросил у Грамши:

— Ты думаешь, я справлюсь?

— Без сомнения, справишься, — ответил Грамши. — Если же нет, я скажу тебе это открыто, и ты сможешь вернуться к своей прежней работе.

Для скромного социалистического органа, да еще провинциального, «Ордине Нуово» был очень богат. Он имел собственную типографию. Средства на приобретение этой типографии собирались по подписке в 1919 году, одновременно с основанием туринского издания «Аванти!». В типографии этой стояло пять линотипов, правда далеко не новых, приобретенных из вторых рук. Имелась и маленькая ротационка типа «маринони». И Монтаньяна, механик, хотя и не полиграфист,

взирал на нее с удивлением и восхищением. «Маринони» стучала ночи напролет безотказно, вот разве иногда теряла какую-нибудь гайку. Но порядок тут же бывал восстановлен!

Чтобы попасть из типографии в помещение редакции, следовало подняться по винтовой лестнице, расшатанной и скрипучей. Одолев ее, вы оказывались в просторной комнате для администрации, рядом с ней находились три комнатушки — пристанище редакторов (то есть по нашей нынешней терминологии попросту — литсотрудников) и еще крохотная клетушка, которую Монтаньяна непочтительно именует «конурой», — там и помещалась дирекция журнала, то есть по-нашему — его редколлегия.

Между прочим, редакторы нового органа учли, что, не ровен час, и он может подвергнуться нападению — время было смутное. Главный вход как раз находился против резиденции архиепископа — в центре города, на улице, которая так и называлась Архиепископской. Но попасть в редакцию было не так легко. Сначала следовало пройти прямой короткий туннель, затем большой двор, окруженный ветхими строениями, затем снова прямой короткий туннель, уже второй. И наконец — второй двор.

Существовал еще и другой вход. С улицы Двадцатого сентября. Почти всегда запертый. Впрочем, попасть в редакцию с этой стороны тоже нелегко. Нужно пройти туннель, прямой, длиной метров в тридцать. По туннелю этому с превеликим трудом могла проехать повозка. Туннель упирался в деревянные ворота… В случае чего редакцию было бы очень удобно оборонять. «Нескольких винтовок, револьверов и ручных гранат хватило бы в таких условиях для весьма успешной защиты», — деловито замечает Марио Монтаньяна.

В помещении «Ордине Нуово» денно и нощно дежурили красногвардейцы. Так они сами себя называли. Обычно их бывало человек двадцать-тридцать. Отважные молодые парни — безработные, а иногда и рабочие, они поочередно отказывались от отдыха. Вооружены они были до зубов и, как пишет Монтаньяна, «исполнены готовности умереть, защищая газету туринского пролетариата». Да, именно газету, скромный еженедельник вскоре превратился в газету с немалым тиражом.

Потенциальные громилы были уверены, что все помещение редакции минировано и что ежели уж очень допечет, то красные, засевшие в нем, взорвут вместе со своим зданием окружающие дома, в том числе и находившийся по соседству аристократический коллеж.

Нет, редакция заминирована не была. Слухи такого рода усердно распространяли сами сотрудники газеты. Так им

посоветовал Грамши. И покамест противник еще не переходил к открытым военным действиям. Противник побаивался. Выжидал. Редакция была разгромлена и разграблена фашистами лишь много времени спустя, уже после пресловутого «похода на Рим».

Работа в редакции начиналась обычно в четыре часа дня. В кабинет Грамши, душный и тесный донельзя, один за другим приходили сотрудники, все жаждали поговорить с ним, узнать его мнение, получить от него совет.

Один из тогдашних сотрудников писал много лет спустя, что Антонио Грамши, хотя он жил в наш век стенографии, линотипов и ротационок, во многих отношениях напоминал древних философов, преподносивших своим ученикам наставления в форме бесед.

Грамши много написал, но это еще далеко не все, что он совершил, да и разве это было самым главным в его жизни? Нет. Самым главным в те дни были его беседы, его устные, практические наставления. При всем том нельзя сказать, что Грамши увлекался своим красноречием и давал ему увлекать себя. Совсем наоборот. Говорил он мало. Зато, как никто, умел слушать. И, как никто, умел в немногих словах дать полное решение обсуждаемого вопроса. Только надо было внимательно прислушиваться к его словам. Ты слушаешь его — и вдруг перед тобой начинают открываться широчайшие горизонты, а ты даже и не подозревал, что они существуют! И получалось так, что многое, к чему Антонио Грамши как будто не имел ни малейшего отношения, будь то газетные статьи, тактические приемы, организационные формы, полезные начинания, являлось на самом деле плодом его упорного труда, результатом его устных наставлений.

Люди шли в крохотный кабинетик Антонио Грамши и после беседы с ним уходили с новым, более ясным взглядом на вещи, уходили, обогащенные новыми идеями.

В облике и характере Антонио Грамши не было ничего от кротости и благостности вероучителя. Но в нем не было и снисходительности и панибратства. Он был требователен к себе самому. И другим тоже не давал поблажки. В нем была всегдашняя собранность и внутренняя строгость, а иногда, как пишет Монтаньяна, она проявлялась и во внешних формах.

«Случаи, когда Грамши полностью опровергал критику, — писал Марио Монтаньяна, — бывали чрезвычайно редки. Это происходило тогда, когда у товарищей, которых он считал честными и преданными партии, обнаруживались расхождения с линией партии по какому-нибудь серьезному вопросу. Очень часто ему удавалось в результате продолжительной дружеской

беседы выявить под поверхностью критики, под оболочкой неудачно выраженного или совершенно ошибочного мнения зернышко истины, результат опыта, который был ему еще не известен или еще не оценен им должным образом.

Такое «открытие» доставляло товарищу, в беседе с которым оно делалось, живейшую радость и глубочайшее удовлетворение от сознания, что и он способствует, хотя бы и в самой малой степени, усовершенствованию политической линии и практической деятельности партии».

Итак, мы с вами в редакции «Ордине Нуово»… В два часа ночи работа окончена, очередной номер газеты уже «на мази» — и вот все редакторы, все, сколько их есть сейчас, — шесть, семь или восемь человек — вваливаются в каморку Грамши, в его крохотный кабинетик.

Вот что вспоминает Марио Монтаньяна:

«Грамши оставался учителем и главой и тогда, когда по окончании работы в два часа ночи мы все собирались в его каморке в ожидании первых отпечатанных номеров газеты. Сознание его превосходства никогда не покидало нас, хотя в то же время мы были лучшими друзьями и товарищами. В эти часы мы беседовали на самые различные темы. Текущие события, проблемы идеологии, искусства, истории, точных наук, незначительные происшествия повседневной жизни — все это порождало между нами ожесточенные бои.

Наши беседы продолжались до четырех-пяти часов утра, когда открывались двери первых молочных и мы могли утолить чашкой кофе или шоколада аппетит, который была не в состоянии утолить половина обеда Грамши, разделенная на семь или восемь частей. Затем мы все вместе провожали Грамши до домика на площади Карла-Эммануила, где он занимал крошечную мансарду, и, наконец, в шесть или семь утра расходились по домам.

Моя мать, которая в это время была уже на ногах, встречала меня неизменно одними и теми же словами:

— Поздненько, поздненько! Уж я знаю: опять все время проговорил с Грамши!»

Но предоставим слово самому Антонио Грамши:

«Когда в апреле 1919 года мы — трое, четверо или пятеро (точно не помню) молодых социалистов — решили (и записи об этих наших дискуссиях и решениях должны еще существовать, поскольку они были переписаны начисто в форме протоколов, да, именно протоколов… для истории!) начать издание этого еженедельника «Ордине Нуово», никто из нас (пожалуй, что никто…) не думал при этом изменить облик мира, обновить умы

и сердца рода человеческого, открыть новый период в истории. Никто из нас не питал радужных иллюзий в отношении успеха нашего начинания (хотя кое-кто все же мечтал, что через шесть месяцев еженедельник будет иметь 6 тысяч подписчиков). Кем мы были? Кого представляли? Какое новое слово мы несли? Увы! Единственное, что нас объединяло на этих собраниях, это чувство, порожденное смутным влечением к смутно представляемой пролетарской культуре; нам хотелось что-то делать, делать, делать; мы были охвачены глубоким недовольством и тревогой, мы страдали оттого, что не видели еще верного пути, чувствовали, что нас с головой захлестывает напряженная жизнь тех месяцев после перемирия, когда казалось столь близким и неминуемым крушение всего итальянского общества».[19]

Здесь Грамши по обыкновению чуть-чуть сгущает краски: если и не сразу, то, во всяком случае, очень скоро молодая редакция нащупала свой особый, ни на кого не похожий путь.

Нужно было каким-то образом разрешить кризис, захвативший всю страну, во всяком случае наметить какие-то пути преодоления этого кризиса. И такую работу проделали Антонио и его соратники в масштабах Турина, ибо он был инициатором и вдохновителем туринского движения фабрично-заводских советов. Он не пытался перенести русские Советы на итальянскую почву, но он искал в итальянской действительности такие политические образования, которые были бы им аналогичны в обстановке послевоенной Италии. И конечно, пример русской революции способствовал движению, возникшему в итальянских рабочих массах.

Грамши был далек от бездумного оптимизма. И он предвидел возможность бешеного разгула реакции, беспощадного разгрома социалистической партии например.

Грамши считал, однако, что поражение пролетариата заденет интересы не одних только пролетарских масс, что оно непременно будет катастрофой для итальянской демократии и для всей итальянской нации в целом. И этого нужно было как-то избежать. Но как?

Действовать следовало как можно скорее. Ведь существовала же социальная сила, которая могла подавить реакцию, — вот эту социальную силу и следовало включить в движение. Но нельзя было ждать, пока социалистическая партия разрешит, наконец, все свои бесчисленные внутренние проблемы. И обновится сама собой, без постороннего импульса.

Грамши исходил из того, что создание новой партии, нового политического организма облегчило бы и ускорило обновление

самой социалистической партии как таковой. Это была единственно правильная и единственно возможная в те дни политика. Единственно правильная задача.

В разрешении этой задачи и был пафос существования «Ордине Нуово». Путь к решению ее лежал через движение фабрично-заводских советов.

Что же это такое — движение фабрично-заводских советов? Каков его смысл и суть, каково его направление? Очень четкий анализ этого вопроса произвел Пальмиро Тольятти в своей статье «Грамши и Итальянская коммунистическая партия», вышедшей в год смерти Грамши.

По словам Тольятти, Антонио Грамши давно изучал формы организации рабочего класса и классовой борьбы на предприятиях. Вопрос о диктатуре пролетариата не был для него отвлеченностью. Он подходил к делу сугубо конкретно. Недостаточно говорить о борьбе рабочих за власть, следует создать организацию нового типа, в которой бы воплощалась борьба рабочих за власть. Вот эта организация нового типа и могла бы, по мнению Грамши, стать основой пролетарского государства.

Такой организацией Грамши считал (или в такую организацию он хотел превратить) фабрично-заводские советы.

Может быть, все эти термины и формулировки могут показаться нынешнему читателю несколько сухими, бескрасочными, но все дело в том, что явления, возникшие в итоге борьбы за претворение в жизнь положений и идей Грамши, были настолько своеобразны и настолько важны для дальнейшего развития событий самих по себе и настолько важны для дальнейшего развития идей и мыслей Антонио Грамши, что без описания их никак нельзя обойтись.

Во время войны на итальянских предприятиях возникли фабрично-заводские внутренние комиссии. Инициатором их возникновения были профсоюзы. Предполагалось, что фабрично-заводские комиссии смогут защитить рабочих от произвола предпринимателей. Прошло некоторое время. Внутренние комиссии оторвались от непосредственного контроля профсоюзов, вышли из-под их эгиды. Теперь это были самостоятельные организации. Организации, представлявшие всю рабочую массу, ибо выбирали их все рабочие.

Развитие их пошло ускоренными темпами, рабочий класс Италии в послевоенные годы — переломные, кризисные годы — весьма быстро осознавал необходимость борьбы за власть.

Вот главой этого движения, признанным главой движения фабрично-заводских советов и стал Антонио Грамши. И он был

понят рабочими Турина.

А органом этого движения стала газета «Ордине Нуово», основанная, как мы уже знаем, 1 мая 1919 года.

Иначе сложилась обстановка в социалистической партии, а ведь именно в ней состояли в те годы Грамши и его ближайшие идейные сподвижники. Почти никто из старых социалистических вождей не понял значения фабрично-заводских советов. Грамши упрекали именно в том, что осью борьбы за власть он сделал фабрично-заводские советы.

А как же партия? — говорили ему старые социалисты.

А где же ее руководящая роль?

Но Грамши знал — и знал не первый день, — что социалистическая партия в ее тогдашнем составе не в состоянии возглавить борьбу итальянских пролетариев за власть. А ведь послевоенная ситуация была такова, что борьбу за власть нельзя, невозможно откладывать. Если момент будет упущен, откроется дорога для черной реакции!

Следовало спешить. И следовало в одно и то же время разрешить вопрос о партии (стало быть, о политическом руководстве всем движением, руководстве, которое должен осуществлять авангард пролетариата) и вопрос о том, как организовать более широкие массы трудового народа.

Как организовать их в тех именно формах, которые необходимы для борьбы за власть. Ибо Грамши считал, что в пору послевоенного кризиса революционная энергия масс достигла такого напряжения и размаха, что оба эти вопроса могут быть разрешены одновременно. Во всем ли он был прав тогда, в 1919–1920 годах? Впоследствии он признавал, что некоторые его тогдашние формулировки были недостаточно четкими. Он считал, что создание и развитие фабрично-заводских советов должно быть увязано с созданием сети политических организаций — «коммунистических групп», — эти группы в одно и то же время способны были бы и руководить движением фабрично-заводских советов и коренным образом обновить социалистическую партию. Они должны были революционизировать ее структуру, обновить ее методы работы, вдохновить ее повседневную деятельность и революционизировать ее политическое направление. Следовательно, развитие фабрично-заводских советов должно было привести, по мысли Грамши, одновременно к гегемонии рабочего класса в стране и к главенству в социалистической партии пролетарских и революционных элементов.

В Турине движение фабрично-заводских советов приняло всеобщий и стремительный характер. И, как пишет Тольятти, между пролетариатом и буржуазией завязалась борьба не на

жизнь, а на смерть, и в этой борьбе рабочие дошли до порога восстания.

Туринские предприниматели пытались сорвать движение фабрично-заводских советов. На почве этой борьбы и возникла всеобщая политическая забастовка городского пролетариата, продлившаяся одиннадцать дней. Грамши непосредственно руководил ею. Эту забастовку Тольятти называет «самым грандиозным движением в послевоенной Италии».

Стачка эта сомкнулась со стачкой сельскохозяйственных рабочих смежных провинций. Все более грозный характер принимало движение солидарности с туринцами, оно росло и ширилось. Но реформистские главари Всеобщей конфедерации труда сорвали его.

Как бы то ни было, движение фабрично-заводских советов и всеобщая туринская забастовка, происшедшая в апреле 1920 года, вошли в историю итальянского рабочего класса. Это была самая крупная попытка пролетариата осуществить свою гегемонию в борьбе народных масс против власти буржуазии, за установление диктатуры пролетариата.

Деятельность группы молодых социалистов, сплотившихся вокруг Грамши и «Ордине Нуово», привлекла внимание Ленина. На II конгрессе Коминтерна Ленин говорил:

«Мы просто должны сказать итальянским товарищам, что направлению Коммунистического интернационала соответствует направление членов «L'Ordine Nuovo», а не теперешнее большинство руководителей социалистической партии и их парламентской фракции».[20]

Однако «Ордине Нуово» не был представлен на конгрессе Коминтерна. Значит, в методе его борьбы за создание партии был существенный недочет.

В чем же была ошибка «ординовистов»?

Тольятти пишет:

«Суть ошибки состояла в том, что «Ордине Нуово» не поставил перед собой открыто задачи создания фракции в социалистической партии в национальном масштабе. В Турине он опирался на большое, массовое движение. В остальных же центрах страны он ограничивался личными связями. Реформисты имели в своих руках центральный аппарат Конфедерации труда и профсоюзных федераций, кооперативы, большую часть муниципалистов и парламентской группы; центристы имели аппарат партии и крупную ежедневную газету «Аванти!»; абстенционисты создали сеть фракционных групп, которые охватывали почти всю Италию и имели сильную опору в руководстве Федерации молодежи. Грамши же получил в свое

полное распоряжение ежедневную газету только за несколько месяцев перед расколом».[21]

Тем не менее именно с начала 20-х годов имя Грамши стало звучать на всю Италию, приобрело общеитальянскую известность.

Попробуем подвести итоги.

Движение «Ордине Нуово» обладало широкими национальными горизонтами. В этом было его непосредственное достоинство. Другое дело, что при всей правильности исходных точек и основных установок движение это немного могло совершить в практическом смысле. Молодые студенты и «дотторе» из редакции этого органа, да и примкнувшие к этому движению туринские рабочие не были еще в состоянии управлять политической жизнью нации. Они не смогли и взять на себя руководство социалистической партией. Для этого они были еще слишком неопытны и умели еще слишком мало. Но хотя возможности движения и были ограниченны (и узок его плацдарм, ограничивавшийся по преимуществу Турином), основные вопросы экономического и политического устройства Италии были поставлены им совершенно по-новому. И в этом была величайшая заслуга «Ордине Нуово».

Серп и молот на кузове

Стоимость жизни неимоверно росла. Профсоюзы пытались добиться повышения заработной платы, чтобы как-то компенсировать повышение стоимости жизни. Однако переговоры с промышленниками не давали существенных результатов. Рабочие начали работать медленней. Предприниматели стали в ответ закрывать заводы.

Неизвестно, долго ли продолжалось бы такое положение вещей, ибо никто не предпринимал каких-либо решительных действий, пока в начале сентября 1920 года Итальянская федерация рабочих-металлистов не решила приступить к захвату предприятий металлообрабатывающей промышленности.

И этот призыв был с восторгом воспринят рабочими-металлистами. Более того, многие предполагали, что захват этот окончателен, что владельцы уже не вернутся на свои предприятия.

Революционно настроенные рабочие знали одно — власть должна перейти в их руки. Но как должен осуществиться этот переход? Как должно быть свергнуто правительство? Каким образом рабочий класс придет к власти? Всего этого никто толком не знал. Но заводы были уже заняты, и многие считали, что сделан первый шаг, и самый важный шаг к тому же. И никто не сомневался, что развитие событий на этом не остановится, что вскоре придется сделать новые шаги в том же направлении.

Выпуск продукции на предприятиях, занятых рабочими, продолжался. Труженики работали теперь на себя, а не для хозяина. Они проявили энтузиазм и дисциплинированность. И надежды буржуазии на то, что на занятых предприятиях непременно возникнут хаос и неразбериха, не осуществились. У ворот заводов стояли вооруженные красногвардейцы с красными повязками. Принимались меры для усиления охраны предприятий. Рабочие устраивали военные учения. В охрану предприятий были выделены самые боевые и надежные люди, преимущественно молодые. Все меры эти были глубоко вынужденными. Никто не знал, что намеревается предпринять правительство. Словом, следовало быть начеку, в полной боевой готовности. Ибо пока обе стороны выжидали.

А движение оказалось чрезвычайно широким: за какую-нибудь неделю оно охватило индустриальные районы всей Италии. Красные флаги реяли над корпусами заводов и фабрик. Движение началось в Турине, где были заняты почти все заводы. Оттуда оно перебросилось в Милан, Неаполь, Геную. На заводах

создавались крупные отряды красной гвардии.

Наряду с прочими предприятиями в Турине были захвачены крупнейшие автозаводы концерна «ФИАТ».

Производство не прекращалось ни на минуту. Говорят, что на кузовах автомашин, выпускаемых «ФИАТ», в эти грозные дни появились пятиконечные звезды и эмблемы серпа и молота.

Кстати, на заводах в те дни производились не только автомашины. Выпускалось и оружие. В Турине изготовляли тысячи ручных гранат. На бывших военных предприятиях обнаружились громадные запасы несобранных винтовок и пулеметов. Были приняты меры к тому, чтобы привести это разобранное оружие в полную боевую готовность. Но пустить его в дело не пришлось.

В эти дни Антонио Грамши побывал на одном из заводов, занятых рабочими, — на заводе «ФИАТ-линготто» в Турине. Завод этот в двадцатом году был еще не достроен. Работало лишь несколько крупных цехов — литейный и другие. Грамши сопровождал его соратник по «Ордине Нуово» Марио Монтаньяна. Он вспоминает об этом посещении:

«Мы спокойно разговаривали с представителями заводского совета, как вдруг поднялся зловещий рев заводских гудков. Это был сигнал тревоги. Молодые рабочие-красногвардейцы завода, всю ночь напролет патрулировавшие завод на велосипедах, дали знать, что к «ФИАТ-линготто» одновременно с разных сторон приближаются сильные отряды солдат и королевской гвардии. Необходимо было приготовиться к любой неожиданности.

В одно мгновение по тревожному гудку завода все машины перестали работать. Из всех цехов, из всех дверей огромного здания сбегались десятки, сотни рабочих в комбинезонах, с запачканными маслом и пылью лицами: все они были вооружены — кто револьвером и гранатами, кто винтовкой, а кто и просто железным копьем, собственноручно откованным и наточенным: они готовы были отдать жизнь, защищая свой завод.

Через несколько минут рев сирены прекратился. Опасность миновала. Рабочие отложили оружие, вернулись к своим станкам и вновь принялись за работу, не теряя времени на разговоры, как будто ничего не произошло: производство не должно было страдать от какого-то незначительного инцидента».

Очень характерно для этих дней выступление секретаря фабрично-заводского совета завода «ФИАТ-чентро», сторонника группы «Ордине Нуово», сказавшего:

«Рабочие! Вам известно, что мы — коммунисты — являемся сторонниками группы «Ордине Нуово» и Советской России. Мы не должны ограничиваться возгласами «Да здравствует Россия!».

Необходимо последовать примеру русских рабочих и крестьян. Надо сделать так, как они нас учат, — взять власть в свои руки и удержать ее, жертвуя собой, как они жертвуют собой.

Пролетариат должен бороться за то, чтобы с помощью бедных крестьян взять власть в свои руки. Мы должны занять не только фабрики, но все учреждения; мы не должны ограничиваться борьбой за лучшие условия контрактов. Мы должны работать, но уже не для хозяев, а для того, чтобы подготовиться. Надо изготовить как можно больше оружия, чтобы в ближайшие дни выйти из фабрик и дать решительный бой».

«Не следует ограничивать численность этих формирований, — говорил Грамши о вооружении рабочих в эти дни, — так как оборонительная тактика может в тот или иной момент смениться наступательной тактикой и военной инициативой».[22]

Однако надо сказать, что Антонио Грамши не разделял чрезмерных упований розовых оптимистов.

Социалистическая партия была слишком слаба и неоднородна, чтобы взять в свои руки подлинное руководство массами. Впрочем, руководящие органы социалистов и Всеобщей конфедерации труда решают все же обсудить создавшееся положение. Обсуждение это происходит в Милане. У миланских социалистов имеется даже свой план развития событий. Все ограничивалось наметками предполагаемого развития забастовки. «Каждый день, начиная с первого, движение должно было охватывать новую категорию трудящихся с тем, чтобы на седьмой сделаться всеобщим и национальным. Речь шла, однако, только о забастовке. Ни одного политического лозунга, никаких указаний для действия. Вся военная подготовка в национальном масштабе состояла в тайной покупке одного аэроплана, и очень немногие знали, где он спрятан».[23]

В таких словах Пальмиро Тольятти вспоминал впоследствии о настроениях и замыслах руководителей миланских социалистов.

Но даже для осуществления этих планов следовало бы сначала договориться — кто, собственно, должен руководить движением — социалисты или Конфедерация труда? Предполагалось, что если движение носит экономический характер, им должна руководить конфедерация, а если политический, то социалистическая партия.

В результате верх одержали реформисты. Они сумели доказать, что движение имеет чисто экономический характер, а стало быть, его не следует расширять — пускай все ограничится профсоюзными рамками.

Но если не расширять движение, то следовало, очевидно, прийти к какому-то соглашению с хозяевами занятых предприятий. Именно такое решение и было принято.

Если говорить об экономической стороне дела, то движение в этом смысле увенчалось успехом, ибо в результате переговоров хозяева предприятий согласились увеличить заработную плату рабочим. Правительство тоже не осталось в стороне. Оно приняло свои меры к ликвидации конфликта, пообещав ввести на предприятиях рабочий контроль.

Конфедерация труда отдала приказ об освобождении предприятий. Итак, рабочие добились известного успеха, хотя, конечно, результаты движения ни в коей мере не соответствовали его размаху и его бесспорно революционному характеру.

И победа рабочих, экономическая победа, обернулась их явным политическим поражением.

И все-таки правящие круги весьма и весьма призадумались. Вот что писала в конце сентября «Коррьере делла сера», одна из крупнейших буржуазных газет Италии:

«Революция не совершилась, но не потому, что мы сумели ей противостоять, а потому, что Конфедерация труда ее не захотела…»

К концу ноября двадцатого года оформилась Коммунистическая фракция Итальянской социалистической партии. И одной из групп, составивших эту фракцию, была группа «Ордине Нуово» во главе с Грамши.

Входили во фракцию и абстенционисты во главе с Бордигой.

Абстенционисты — слово громоздкое. Означает оно людей, считающих парламентскую деятельность партии вещью совершенно ненужной и излишней.

Вошли во фракцию и группы левых максималистов.

В основу программы были положены принципы Коммунистического Интернационала.

В программе указывалось на необходимость участия партии в парламентской борьбе; таким образом, вошедшие в состав фракции абстенционисты отошли от своих прежних позиций.

А вскоре после образования коммунистической фракции, а именно в январе двадцать первого года, в Ливорно собрался очередной, семнадцатый по счету, съезд Итальянской социалистической партии. Грамши прибыл в Ливорно 16 января. Съезд проходил уже в весьма накаленной атмосфере. На улицах социалисты дрались с фашистами. Заседания съезда происходили в театре Гольдони. Там кипели чрезвычайно пылкие словесные схватки. Иногда боевое настроение настолько повышалось, что делегаты прекращали споры и начинали петь; каждая фракция

затягивала свой гимн: коммунисты пели «Интернационал», максималисты — «Красное знамя» («Бандьера росса»), а реформисты — «Рабочий гимн», сочиненный синьором Филиппо Турати. Джованни Джерманетто, участник съезда, писал: «И недаром же мы слывем музыкальным народом — это разноголосое пение до некоторой степени разряжало атмосферу».

Голосовались три резолюции. Резолюция коммунистов собрала 58 тысяч голосов. Резолюция реформистов — 14 тысяч. Самое большое количество голосов собрала резолюция максималистов — 98 тысяч голосов[24]. Эту резолюцию и принял съезд, она закрепляла организационное единство с реформистами.

Подобное единство в тогдашних политических условиях могло привести разве только к разброду и бессилию. И тогда делегаты-коммунисты решили покинуть съезд. Они выстроились в колонну и покинули зал заседаний. Перешли в театр Сан-Марко, где и открыли свой первый Учредительный съезд.

Джованни Джерманетто вспоминает:

«Уходя одним из последних, я заметил в углу зала Серрати, бледного как полотно, с неописуемым выражением глядевшего нам вслед… И мне вспомнились слова товарища Ансельмо Марабини, произнесенные им в конце последней речи:

— Ты, Серрати, настоящий революционер, и ты вернешься еще к нам.

Пророчество Марабини сбылось: Серрати вернулся к нам».

Итак, 21 января 1921 года считается днем образования Итальянской коммунистической партии.

С этого момента в жизни героя нашей книги начинается новый период: масштабы его деятельности расширяются, из журналиста, уже известного правда, и политического деятеля местного, туринского, пьемонтского масштаба он становится деятелем общенационального плана. И международного плана. Вот он идет по Виале Реджина Маргерита — аллее королевы Маргариты — красе и гордости Ливорно. Он смотрит на корабли в торговом порту, на их пестрые флаги, на их короткие трубы в сигарных ободках. Где-то тут неподалеку верфи, гигантские суда сползают со здешних стапелей в зеленоватые волны. Так и партия сейчас — как корабль на стапелях. Большой корабль. Ну что ж, большому кораблю — большое плаванье, но кто знает, какие подводные рифы еще подстерегают его? Партия родилась в трудный момент. 58 тысяч человек, проголосовавших за коммунистическую резолюцию, сделали это не потому, что ожидали от исхода голосования каких-то благ и выгод. Они знали, что перед ними борьба, и трудная, тягостная к тому же,

борьба, которая потребует от них величайших усилий. По крайней мере они должны были сознавать это. И лучше и больше, чем кто бы то ни было, сознавал это он сам — Антонио Грамши.

В дни «Похода на Рим»

Достопочтенный Филиппо Турати поднялся по ступеням Квиринала. Он добился аудиенции у короля. Он просил у Виктора-Эммануила помощи против фашистов. Как же отнесся к его словам король? В одной из газет, сообщавших об этой аудиенции, Филиппо Турати приписаны следующие слова:

— Король проявил понимание ситуации, но несколько академическое понимание…

Впоследствии Турати уверял, что он этого не говорил. Впрочем, отношение короля к развивающимся событиям, установки его величества сделались совершенно ясны месяца два спустя.

Муссолини созвал своих чернорубашечников на съезд в Неаполе. Было это в середине октября 1922 года. Съехались десятки тысяч фашистов. Съезд этот был довольно странный, напоминавший скорее военные маневры. Чернорубашечники были в полной боевой готовности. Муссолини держал речь на съезде. Суть этой речи заключалась в том, что в новом правительстве пять постов должны быть предоставлены членам фашистской партии.

Удивительное дело: угрозы Муссолини и требования его ни на кого особенного впечатления не произвели. Считалось, что Муссолини зарывается. Съезд вскорости закрылся, делегаты разъехались по домам, но, как выяснилось, они ожидали только боевого клича, призыва к действию.

Этот призыв тут же воспоследовал. Бенито Муссолини отдал приказ о походе на Рим. Так он предполагал захватить власть в государстве.

Операция была широко задумана, руководить ею должна была четверка вожаков — квадрумвират; в состав этой четверки вошли генерал Эмилио де Боно, Итало Бальбо, Микеле Бианки и Чезаре Мириа де Векки. Спустя два десятилетия с небольшим престарелый генерал де Боно будет расстрелян по личному приказу Муссолини, расстрелян вместе с Чиано и другими былыми приверженцами дуче, отшатнувшимися от него и стремившимися порвать с ним. Правда, эти казни уже не помогут Муссолини. Ибо время его пройдет, и пройдет безвозвратно. Но осенью двадцать второго года Муссолини был еще только на подъеме.

Королю предлагали объявить военное положение. Генерал Бадольо будто бы заявил королю, что, если ему разрешат открыть огонь по фашистам, он, Бадольо, «в пять минут разделается со

всем этим сбродом!».

Но король пребывал в нерешительности. 28 октября стало известно, что он отказался подписать декрет о военном положении. Тем самым фашисты получили полную свободу действий. Войска против них так и не были двинуты. И квадрумвиров, комфортабельно расположившихся в отеле Бруфани, никто даже пальцем не тронул, хотя гражданские власти, захоти они только, легко могли бы арестовать новоявленных полководцев! Но власти, как гражданские, так и военные, повсюду слагали свои полномочия в пользу фашистов.

«Марш на Рим» совершался по всячески: на машинах, и в поездах, и походным строем, как, собственно, и полагалось для пущей наглядности; фашистов были многие тысячи. Правительство бездействовало. Да, десятки тысяч фашистов беспрепятственно вступили в Рим с разных сторон.

Произошло все это 30 октября. Сопротивления не было. Не было ни единого выстрела. Сторонники дуче были облачены в черные рубашки, на груди — белые черепа. Фашисты печатали шаг, горланили песни. Муссолини выехал в Рим в спальном вагоне.

Он явился к королю 30-го утром.

Существует, как известно, определенный придворный этикет, и, по всей вероятности, Муссолини полагалось быть во фраке. Но он не снизошел до этою. И когда он вошел к королю, на нем были черная рубашка, серо-зеленые брюки, солдатские башмаки и краги.

Виктор-Эммануил чуть было не осведомился, что это еще за маскарад, но Муссолини опередил коротышку монарха, попросив извинения за необычный наряд, ибо он-де «только что вернулся с поля боя» («к счастью, бескровного», — прибавил он невинно), вернулся, принеся к стопам короля «Италию Витторио-Венето». (При Витторио-Венето итальянцы одержали решающую победу, после которой и было подписано перемирие с вконец обескровленной Австрией.)

Нужно сказать, что вся эта экстраординарная аудиенция носила все признаки заранее поставленной и срежиссированной комедии… Собственно говоря, еще 29-го, за день до визита, король предложил Бенито Муссолини сформировать правительство. И естественно, главарь чернорубашечников принял это предложение. Обыватели в массе приветствовали его. Он был для них усмирителем «красной опасности», и они, обыватели, в восторге (а многие, может быть, и в испуге) вывесили из окон национальные флаги.

Кто знает его, что он еще натворит, этот «усмиритель»? И

кого он еще будет усмирять или вовсе истреблять?

Нет, нельзя сказать, конечно, что в Италии в те дни не было сил, способных призвать фашистов к порядку. Такие силы были.

Но рабочие Италии, люди, которым не раз случалось с оружием в руках драться с обнаглевшими чернорубашечниками, не были в тот момент достаточно организованы, чтобы оказать быстрое и решительное сопротивление.

И момент для «похода на Рим» в этом смысле был выбран как нельзя более удачно.

Итальянское рабочее движение находилось тогда в глубочайшем кризисе. Этот кризис последовал за взлетом эпохи занятия фабрик. А теперь труженики были разобщены. Единства действий не существовало.

Фашисты не мешкали — еще накануне «похода» они разгромили и разграбили редакции и типографии газет — «Ордине Нуово» в Турине и «Иль Комуниста» в Риме. Королевская гвардия и полиция проявили при этом немалую предупредительность — они всячески пошли навстречу чернорубашечникам и выдворили из редакционных помещений рабочую охрану.

Осталась только газета «Лавораторе», что означает «Труженик», издававшаяся в Триесте. Редакция ее тоже была подожжена, но триестинцы восстановили все, что было возможно, и после разгрома газета просуществовала еще несколько месяцев. Но после повторного нападения фашистов было прекращено издание и этой газеты.

Политические партии трудящихся оказались не подготовленными к конкретным действиям. Они не могли договориться между собой. Силы уходили на бесконечные дискуссии — обсуждались принципы и детали общей политики, обсуждались личные качества тех или иных деятелей.

Конечно, нельзя умалять значение того, что происходило тогда внутри социалистической партии. Социалистическая партия порвала с реформистами. Они были исключены из партии на римском съезде, происходившем в октябре двадцать второго года — накануне фашистского переворота.

Времени у рабочих партий уже не оставалось. Быть может, события развернулись бы иначе, если бы разрыв с реформистами произошел несколько раньше и если бы социалисты сумели найти путь к единству действий с коммунистами. Однако этот путь ими так и не был найден. Да и Муссолини не всеми его противниками принимался всерьез. И недооценка пошла ему на пользу, потому что в какой-то мере облегчила ему захват власти.

В эти трудные дни Антонио Грамши был далеко от Италии.

Он находился в Москве в качестве представителя Итальянской компартии в Исполкоме Коминтерна, участвовал в подготовке четвертого конгресса Коминтерна.

Антонио Грамши выходил из исполненной купеческого великолепия гостиницы «Люкс» прямо на синюю рассветную Тверскую.

Он был чужим здесь сперва, но эта отчужденность длилась недолго. Главной преградой для взаимопонимания был язык, вернее незнание здешнего языка.

Летом двадцать второго года Грамши попал в подмосковный дом отдыха. Напряженная работа на родине, напряженный труд здесь, в советской столице, — все это резко подорвало его силы. Он уехал отдохнуть и полечиться в санаторий «Серебряный Бор».

Юлия Аполлоновна Шухт, внучка боевого генерала времен русско-турецкой войны и дочь народовольца-эмигранта, проведшая много лет в Италии и Швейцарии, в семнадцатом году вернулась в Россию. Юлия училась в Италии в академии Санта Чечилиа по классу скрипки. Она закончила курс весьма успешно и по приезде в Россию занялась педагогической работой. Педагогом была и ее старшая сестра Евгения, работавшая в Наркомпросе, ближайшая сотрудница Надежды Константиновны Крупской. Евгения, Женя, как называли ее в семье, тяжело заболела. Ее отправили в дом отдыха с наказом поскорее выздороветь. Юлия Аполлоновна часто навещала Евгению.

Сентябрь был на исходе, листья пожелтели, Юлия шла по осеннему саду, что-то напевая про себя. Потом она почему-то остановилась. Навстречу ей шел человек необыкновенной внешности. Низкорослый, сутулый, пожалуй, даже горбатый, с громадной тяжелой головой. Был он смуглый и бровастый, без шляпы, в каком-то пестром, явно иностранном пальто. Глаза его были опущены; когда он поравнялся с Юлией, он взглянул на нее. И вдруг оказалось, что глаза у него невероятные — не серые и не голубые, а синие, темно-синие, великолепные и лучистые. Он обратился к Юлии с каким-то вопросом. Рассказывая об этом много лет спустя, Юлия не могла уже припомнить, о чем именно он ее спрашивал; говорил он по-французски, Юлия по выговору узнала итальянца и ответила ему по-итальянски. А он смотрел и смотрел в глаза Юлии, лицо у нее было странное и вдохновенное, и чем-то оно напоминало византийские иконы, которые он видел в Москве. В ней не было обыденности, приземленности, заурядности, и это решило их судьбу. Завязалась беседа. Эта беседа, этот диалог затянулся на много лет — он длился полтора десятилетия, до самой гибели Антонио Грамши.

Вскоре они поженились. Сыновья их — старший Делио и

младший Джулиано — выросли в Советском Союзе.

Юлия приезжала в Италию в двадцать пятом году. Некоторое время они прожили под одной крышей в Риме. Но время было тревожное, и Юлии (вместе с Делио, первенцем) пришлось перебраться в Швейцарию. Грамши навещал их там. А потом наступили долгие дни, месяцы и годы разлуки. Потрясенная арестом Грамши, Юлия тяжело заболела. Ей не удалось снова приехать в Италию, хотя возможность такого приезда неоднократно обсуждалась в переписке Антонио Грамши с нею.

Письма Грамши изданы, переведены на многие языки, публиковались они и у нас.

Но жаль, что у нас осталось неопубликованным письмо от 13 февраля двадцать третьего года. Оно удивительно передает не только обстановку тех лет, не только умонастроение Грамши, но и передает его человеческий образ так, как, может быть, никакое иное из его писем. В нем выразилась какая-то глубинная суть его существа, весь этот необычный человек, во всем его могуществе и со всеми его слабостями: могучая и мятущаяся человеческая личность. В Италии оно напечатано во втором томе сборника «Две тысячи страниц Грамши» в 1964 году.

Вот что он пишет:

«Дорогая,

я не уверен, смогу ли я в воскресенье приехать к вам. Нас то и дело созывают, в самые немыслимые часы, и мне было бы очень неприятно пропустить собрание, не имея возможности оправдать свое отсутствие. Очень хочу приехать. Хотелось бы столько сказать вам. Но сумею ли? Часто спрашиваю себя об этом, обдумываю планы длинных речей. Но когда я подле вас, забываю все. А между тем это должно бы быть так просто. Просто, как просты мы сами, или как я, во всяком случае. Вы ошибаетесь, когда ищете в моих словах что-то сложное, какой-то особый смысл. Нет, нет, слова правильно отражают очень спокойное, умиротворенное душевное состояние. Я люблю вас и убежден, что вы меня любите. Правда, уже много-много лет я приучил себя думать, что не могу быть любим никем, что это абсолютно, почти фатально невозможно. Слишком долго это убеждение было средством самозащиты, желанием избежать новых обид и огорчений. Десятилетним ребенком я начал думать так о своих родителях. Мне приходилось терпеть такие лишения, а здоровье у меня было такое слабое, что я убедил себя в том, будто я — подкидыш, непрошеный гость в собственной семье. Такие вещи не забываются легко, они оставляют более глубокий след, чем можно предполагать. Все мои чувства точно отравлены глубоко укоренившейся привычкой так думать. Но сейчас я почти не

узнаю себя, настолько я изменился, и поэтому мне странно, что вы замечаете и придаете значение нервным жестам и маленьким вспышкам, которые не зависят от меня и носят, может быть, чисто физический характер. Я люблю вас. Почему вы говорите: «Слишком скоро»? Почему вы говорите, что моя любовь — это нечто существующее вне вас, не касающееся вас? Что за путаница, что за чепуха? Я не мистик, а вы не византийская мадонна. Советую вам считать до десяти тысяч всякий раз, когда понадобится очищать свои мысли от подобной чепухи и абракадабры.

Мы сильны и любим друг друга. И мы просты, и все в нас естественно. И прежде всего мы хотим быть сильными и не хотим тонуть в сладчайших психологических интригах в духе Матильды Серао. Мы хотим быть духовно сильными, и простыми, и здоровыми и просто любить друг друга именно потому, что любим, а это самый прекрасный, и самый большой, и самый сильный довод на свете».[25]

Пребывание в Москве, участие в политической и общественной жизни советской столицы многое дали Антонио. Здесь, в Москве, он и начал изучать русский язык. Это было ему непременно нужно. Во-первых, он должен был прочесть ряд работ Ленина, работ, которых он не знал прежде. Не все они были тогда переведены на доступные ему языки. Да и помимо политических задач, ему интересно было просто говорить с людьми — быт москвичей, повседневность их очень занимали его. И очень занимало начало 20-х годов — эпоха первого пышного цветения юной советской литературы. У нас почти нет сведений о том, что именно из новых русских книг читал в те годы Грамши. В письмах его есть только намеки на это. Определенно говорится только о стихах Корнея Чуковского — Грамши не без гордости замечает, что знает наизусть строк двести из «Мойдодыра» (правда, названия этой детской поэмы он не приводит, но по контексту получается, что именно ее он и имеет в виду). Впоследствии, вернувшись в Италию, он, когда находится время, жадно читает переведенные на итальянский язык книги современных советских авторов.

Существовало в Италии такое издательство «Славия». Выпускало оно переводы с русского, преимущественно советских и старых русских писателей, иногда, впрочем, и эмигрантов.

Впоследствии, в тюремные годы, Грамши читал почти исключительно итальянские и французские книги, переводных он не любил, но единственное исключение делал для русских книг — просил присылать ему издания «Славии».

Но вернемся к дням, проведенным Антонио Грамши в Москве.

Он бывал в «Серебряном Бору», навещал там вместе с Юлией Евгению Шухт. Бывал он частенько в гостях у семейства Шухт, Тверская-Ямская, 14. И конечно же, он бывал в тогдашних московских театрах. Мир подмостков издавна был ему по душе. Недаром же он с такой гордостью сказал однажды, что одним из первых обратил внимание итальянских зрителей на Пиранделло, своеобразного драматурга Луиджи Пиранделло, о котором он, Антонио Грамши, написал, пожалуй, целый пухлый том!

Но главным содержанием его жизни оставалась борьба. Борьба за освобождение трудящихся.

В ноябре 1922 года Грамши принимает участие в заседаниях четвертого конгресса Коминтерна.

Выступая на конгрессе, В. И. Ленин говорил об иностранных товарищах, недооценивающих контрнаступление реакции:

«Они должны воспринять часть русского опыта. Как это произойдет, этого я не знаю. Может быть, нам окажут большие услуги, например, фашисты в Италии, тем, что разъяснят итальянцам, что они еще недостаточно просвещены и что их страна еще не гарантирована от черной сотни. Может быть, это будет очень полезно».[26]

В словах Ленина не только горечь. Они дышат верой в силу итальянского пролетариата. Пройдя сквозь испытания, он сумеет найти пути избавления от господства апеннинского варианта «черной сотни», сбросит гнусный фашизм!

Сведения о положении в Италии доходили редко, с перебоями. Были они сбивчивые, противоречивые. Впрочем, в Москве было получено и материальное свидетельство деятельности партии — первый нелегальный номер газеты «Ордине Нуово». Это машинопись. Заголовки сделаны от руки. И все-таки это газета, хотя оформленная бедно и кустарно. Стало быть, борьба продолжается. Товарищи живы. Фашистам не удалось заткнуть им рот. И итальянские делегаты вывешивают листки «Ордине Нуово» в Георгиевском зале Кремля, там, где проходят заседания четвертого конгресса Коминтерна.

Итальянская делегация была очень многочисленна. Делегаты часто собирались вместе и бурно обсуждали происшедшие события. Дискутировали даже ночью. Обсуждались установки Коммунистического Интернационала — Коминтерн добивается создания единого пролетарского фронта всех трудящихся.

Победа реакции неизбежна, если рабочие по-прежнему будут разобщены, разъединены.

Руководство Коминтерна посоветовало итальянским коммунистам объединиться с социалистической партией. Реформисты были главным препятствием к такому объединению.

Но теперь они исключены из рядов партии социалистов. Стало быть, препятствий стало меньше. Однако Бордига и слышать не хотел о том, чтобы объединиться с социалистами.

Грамши и Скоччимарро предлагают проголосовать за объединение. И большинство делегации поддержало их резолюцию. Была даже образована смешанная комиссия по объединению коммунистической и социалистической партий.

Но объединение это не удалось осуществить: ему всячески противодействовало руководство социалистов, да и сторонники Бордиги в руководстве коммунистической партии продолжали противиться этому.

Вот тогда-то у Грамши и начало назревать убеждение, что необходимо создать новую руководящую группу коммунистической партии. Следовало по-новому ориентировать партию. Этого нельзя было бы добиться при прежнем руководстве, где значительную роль продолжал играть закосневший в «левом» сектантстве Амадео Бордига.

Нет, не о создании какой-то новой фракции думал Грамши, а о создании крепкого внутрипартийного ядра, как он выражается: «Из товарищей, которые имели бы максимум идеологической однородности и могли бы осуществлять на практике максимум директивной целенаправленности».

Сторонники Бордиги не способны проводить правильную политику, и разве суть спора только в том — сливаться или не сливаться с социалистической партией? Суть в том, что нынешнее руководство Компартии Италии не понимает общего положения в стране и, следовательно, не способно правильно руководить массами.

А Бордига и в самом деле проявлял удивительное отсутствие чувства реальности. «Муссолини стоит Джолитти», — уверял он. «Поход на Рим» — это просто пустячный опереточный эпизод. Это, мол, внутреннее дело буржуазии, а пролетариату не до внутренних буржуазных дел. Пролетариат должен по-прежнему оставаться к ним безучастным. Вообще-то следовать подобной политике в своей практической деятельности значило бы идти на сознательное самоубийство!

Антонио Грамши, естественно, не мог примириться с подобной трактовкой событий и подобной тактикой в повседневной работе партии.

Широкая и неустанная борьба трудящихся масс против фашизма — вот лозунг, который выдвинул Грамши. Он первый заговорил об общенациональных задачах рабочего класса.

И он вместе с товарищами-единомышленниками — с Тольятти, Скоччимарро и другими — стал выводить партию из

сектантского плена.

Депутат от округа Венето

Осенью двадцать третьего года Грамши переехал из Москвы в Вену. Там он прожил более года. Вена показалась ему скучной и печальной.

«Здесь нет саней, которые весело и звонко бороздят белизну улиц, — одни лишь трамваи гремят. Жизнь проходит тоскливо и монотонно. Я выхожу из дому только в ресторанчик или на какое-нибудь организационное совещание. Работаю довольно много: вновь привыкаю работать методически, долгие часы просиживаю за письменным столом…»[27]

В дунайской столице Антонио Грамши попал в довольно странную среду. Квартирная хозяйка его, супруга функционера Австрийской компартии и сама коммунистка — во всяком случае, у нее был партийный билет, — вздыхала о добрых временах императора Франца-Иосифа, впрочем, эти настроения в Вене тех лет были довольно распространены.

«Моя жизнь проста и прозрачна, — пишет он в Москву жене, — прозрачна, как вошь под микроскопом, по выражению Рембо. Я всегда или почти всегда дома, живу очень далеко от центра; сижу один, читаю и пишу. Часто замерзаю, потому что печь обогревает плохо; ночью сплю мало, спальня не отапливается, и температура — 6 градусов тепла, отчего по вечерам меня всегда знобит. Кровать на немецкий лад: очень жесткая, очень неудобная, с периной вместо одеяла, перина то и дело сползает с меня, и я непрестанно просыпаюсь от холода. Однако жить все-таки можно, особенно потому, что я много-много думаю о тебе…»

Письма его летят и в Италию. В Италии предполагается издание новой ежедневной коммунистической газеты взамен разгромленных. Как же назвать этот новый орган? Может быть, использовать одно из прежних названий — «Коммунист» или, скажем, «Ордине Нуово»?

Нет, Грамши предлагает взять другое название — он предлагает назвать новую газету «Унита», что означает «Единство». Почему же он предложил это название? В чем его смысл? И какое это единство? Объединение Италии? Но ведь она и так уже объединена!

Нет, речь здесь идет не о формальном объединении, при котором юг рассматривается чуть ли не как завоеванная территория. Речь идет об истинном единстве. Разрыв между севером и югом должен быть ликвидирован. Обе эти части страны должны слиться в целостном национальном организме.

Вот это-то создание и укрепление подлинного единства страны и является миссией рабочего класса Италии. Не говоря уже о единстве самого рабочего класса!

Отсюда и название «Унита».

Первый номер новой газеты вышел в Милане 12 февраля двадцать четвертого года. В ее основании, помимо коммунистов, приняла участие группа социалистов-максималистов — сторонников Третьего Интернационала — группа, возглавляемая Дж. М. Серрати. Группа эта решила сотрудничать с коммунистами и добиваться также и организационного слияния с ними.

Это организационное объединение с группой Серрати осуществилось несколько месяцев спустя — в августе двадцать четвертого года, когда в коммунистическую партию вошло сразу около четырех с половиной тысяч человек.

Идеи Грамши были новы для большинства итальянских коммунистов. Многие из них, особенно в низовых партийных организациях, были еще под гипнозом сектантских идей Бордига (в руководящих органах большинство было настроено против бордигианства). Следовало ли тогда идти на открытый разрыв с Бордигой? Многие не были в этом уверены, полагая, что это может лишь дезориентировать ряды партии.

Все это были вопросы весьма щекотливые и тонкие, решать их заочно, из далекого далека (даже и не столь иногда далекого, например из Вены) было практически невозможно. И Антонио Грамши рвется в Италию.

Но его пылкое желание вернуться на родину осуществилось не сразу.

Приходит весна двадцать четвертого года. В делах известный просвет. Вышел первый номер возрожденного «Ордине Нуово», вышел и, надо сказать, имел немалый успех. Весь тираж разошелся сполна, и еще просили прислать, были запросы с мест, приходили просьбы, требования даже, из Турина, Милана, Рима: нужно было еще две тысячи экземпляров, жаль — отпечатать их не удалось!

Посыпались письма от товарищей. Оказалось, что многострадальный «Ордине» любим читателями. А ведь в девятнадцатом году он и его друзья начали издавать «Ордине» без особых надежд на будущее.

Вот доподлинные слова Грамши:

«Это будущее мы представляли себе тогда слишком ясно, так ясно, что это сковывало нас: нам казалось, что всему суждено полететь в пропасть, и так оно и случилось. И сейчас приверженность товарищей к возрожденному «Ордине Нуово», надежды, которые они на него возлагают, даже угнетают меня: я

еще больше ощущаю свою слабость, свою неспособность. Тут надо бы иметь железную волю, всегда ясный и мгновенно реагирующий ум, физические силы для работы — как раз этого мне и не хватает».

И вдруг неожиданная весть, настолько поражающая воображение, что Грамши не решается даже написать об этом вполне утвердительно: «Кажется, я избран депутатом парламента от Венето…» И он пишет жене: «…теперь, больше чем когда бы то ни было, я хочу быть сильным, потому что хочу быть достойным твоей любви…»

И дальше следуют удивительные слова — ироничные и просветленные в одно **и** то же время:

«Думаю, что когда мы будем вместе, мы станем непобедимыми и найдем способ уничтожить и фашизм. Мы хотим, чтобы наши дети жили в свободном **и** прекрасном мире, **и** будем бороться за это так, как мы еще никогда не боролись, с изобретательностью, какой у нас еще не было, с упорством, с энергией, которая опрокинет все препятствия».

Антонио Грамши возвращался в Италию. Наступал новый, совершенно новый период его жизни. Будет ли он на высоте теперь? Да и как вести себя в этой новой, по правде сказать, почти непредвиденной обстановке? Что он знает о ней? Лишь то, что пишут ему друзья, да скупую, скудную **и** далеко не всегда достоверную газетную информацию. Придется сориентироваться на месте. Быть может, все еще не так скверно, как ему могло показаться из не очень-то прекрасного, филистерского, венского далека… Он смотрит вдаль. У него смуглое лицо, густые черные брови. А глаза у него синие, тревожно синие, как небо перед грозой.

Нет, никакой ошибки не было. Парламентские выборы прошли в апреле. Фашисты прилагали все усилия, чтобы запугать избирателей, заставить их проголосовать за угодных им, фашистам, лиц. Выборы проходили в обстановке жесточайшего нажима, но маска законности тогда еще не была окончательно сброшена. Никакой ошибки не было: трудящиеся избирательного округа области Венето избрали Антонио Грамши депутатом парламента двадцать седьмого созыва. Кандидатура Грамши фигурировала в коммунистическом списке, украшенном эмблемой серпа и молота в венке из колосьев. И за кандидатуру эту было подано свыше 32 тысяч голосов. Всего в парламент нового созыва было избрано 19 коммунистов — больше, чем в парламент предыдущего созыва.

И посланник области Венето Антонио Грамши занял свое место на парламентской скамье.

Итак, в мае двадцать четвертого года Грамши возвращается на родину. Он поселяется в Риме, на улице Везалио, за Порта Пиа. В это время созывается первая нелегальная конференция партии, проходит она в районе озера Комо.

Собственно говоря, компартия отнюдь не была официально запрещена, однако трудно сказать, чем бы кончилась попытка созвать подобного рода конференцию легально, нисколько не конспирируя. По всей вероятности, полиция переарестовала бы участников конференции, найдя для этого какой-либо более или менее аполитичный предлог.

Словом, пришлось изображать невинную туристскую прогулку, этакую коллективную вылазку в горы благонамеренных служащих одного из туринских предприятий.

Вот что рассказывает Грамши о том, как протекала конференция:

«Целый день споры о тенденциях, о тактике, а во время трапезы в помещении туристской базы, полном экскурсантов… вое притворялись и разыгрывали комедию, чтобы не возбудить подозрений и спокойно без помех проводить собрания в прекраснейшей долине, где цвели белые нарциссы».

Свидетельство Грамши довольно лаконично. К счастью, в «Воспоминаниях туринского рабочего», принадлежащих перу неутомимого Марио Монтаньяны, сохранилась очень подробная и живая картина — интереснейшее описание того, как протекала эта конференция и что на ней говорилось. Конечно, это ни в коей мере не стенограмма, да и писались воспоминания Монтаньяны спустя целых два десятилетия после событий, которым они посвящены.

«Конференция, — рассказывает Монтаньяна, — состоялась в уединенной гостинице в горах у озера Комо. Она продолжалась три дня. Наиболее важными были выступления Грамши и Бордиги. Я не помню сейчас деталей дискуссии, ведь с тех пор миновало уже двадцать лет, и не имею под рукой соответствующих материалов, поэтому я отмечу здесь лишь некоторые наиболее важные моменты.

Бордига выдвинул свои обычные тезисы. По его мнению, деятельность партии должна была ограничиваться почти исключительно пропагандой его, Бордиги, принципов, независимо или почти независимо от объективной обстановки в Италии и за границей.

Приход к власти фашизма не был, по его мнению, историческим событием исключительной важности; это была простая «смена министерства», установление немного более суровой реакции, чем при других буржуазных министерствах, и

ничего больше. Поэтому он утверждал, что у нас нет ни малейших оснований изменять свой образ действий и свою линию поведения.

Самым существенным делом осталась и после прихода фашизма к власти пропаганда наших принципов. Когда-нибудь, неважно когда, спешить незачем, события покажут правоту нашей партии, и тогда рабочий класс приблизится к ней, встанет под ее руководство и совершит пролетарскую революцию.

В ожидании этого момента партия не должна совершать никаких тактических маневров, не должна допускать и мысли о том, чтобы принять в свои ряды группы или фракции, отколовшиеся от других партий, например от социалистической партии. Если некоторые лица хотят вступить в коммунистическую партию, как, например, «третьеинтернационалисты» во главе с Серрати, то пусть каждый из них в отдельности, не претендуя ни на какие специальные привилегии, подаст индивидуальное заявление о принятии в партию. Руководства рассмотрит каждое заявление и решит, как следует поступить в каждом отдельном случае. Для Бордиги важно было не то, чтобы партия сделалась массовой партией, он даже открыто высказывался против такого превращения; его лозунгом было «немного, да хороших», не развертывание работы, имеющей целью ускорить падение фашистского режима и активизировать рабочих и весь народ — «нам незачем спешить», — для него было важно сохранить «верность своим принципам». Было очевидна, что «принципы», за которые так держался Бордига, были так же далеки от принципов ленинизма, как небо от земли.

Эти фразы о «верности своим принципам», этот отказ от всякого компромисса ввиду необходимости быть «немногочисленными, но хорошими» производили известное впечатление на некоторых товарищей, недостаточно подготовленных и прошедших, как и большинство членов нашей партии, школу максимализма; в сущности, это и составляло опасность тезисов Бордиги.

Грамши в своем выступлении не оставил камня на камне от всей «системы» Бордиги. В этой дискуссии столкнулись два мировоззрения, два образа мыслей, две противоположные философии; уже тогда можно было предвидеть, а Грамши, возможно, предвидел это и значительно раньше, что эти два мировоззрения не смогут долго сосуществовать внутри партии. По мере того как Грамши говорил — просто, негромко, ***без*** всяких ораторских приемов, как он говорил всегда, даже когда выражал наиболее глубокие идея, — перед нами как бы раскрывался целый новый мир. Постепенно все становилась ясным, неопровержимым.

Абстракциям противопоставлялась реальность, школьной учености — жизнь, любованию собственными отвлеченными конструкциями — любовь к рабочему классу, к родине, к народам всего мира. С одной стороны, перед нами стоял индивидуалист, далекий от масс, презиравший массы, человек, для которого политические проблемы имели не большее значение, чем проблемы математики; с другой — Человек в наиболее высоком и полном смысле этого слова, человек, который искал и нашел **в** политической борьбе **и** в марксистско-ленинском учении оружие для освобождения своей страны и всего человечества, с которым он был связан через массы всеми фибрами своей души, всем своим существом…

В своем выступлении Антонио Грамши дал анализ положения, основанный на тщательном изучении различных социальных сил и политических группировок Италии — как тех, которые поддерживали фашизм, так и тех, которые с большей или меньшей энергией и готовностью к борьбе оказывали ему сопротивление., Он подчеркнул неуверенность, робость и неустойчивость непролетарских антифашистских партий, в том числе и социалистической, и показал, что только сильная коммунистическая партия, если она сумеет в совершенстве усвоить, применительно к итальянской действительности, опыт большевиков и окажется способной проводить на этой основе умелую, разумную и эластичную тактику, лишь эта партия будет в состоянии, возглавив общенародную борьбу, повести за собой широкие массы рабочих и мелкой буржуазии, и в первую очередь миллионные массы бедного и среднего крестьянства.

«Бордига, — так приблизительно говорил Антонио Грамши, — не понимает партию как живое и действенное орудие, как авангард рабочего класса, состоящий из лучшей части рабочего класса и всего народа и способный в любой момент и при любых условиях сохранить связи с массами и вести их к свободе, преодолевая все препятствия и побеждая одного за другим всех врагов. Бордига понимает партию как какой-то неподвижный светильник, подвешенный в воздухе: когда-нибудь рабочие заметят его сияние и приблизятся к нему. Не беда, если этот момент наступит очень не скоро. Торопиться нам некуда…»

И Марио Монтаньяна продолжает:

«Я и сейчас вижу, как живого, товарища Грамши, сидящего на белой как снег от покрывающих ее нарциссов лужайке, где происходило наше собрание. Я слышу, как он с горечью, почти с презрением, восклицает: «Ты не спешишь, Бордига! Но мы, люди, чувствующие свою связь с рабочим классом и со всем народом, мы спешим, очень спешим, как спешат все рабочие, как спешит

народ, страдающий от фашистской диктатуры и от капиталистической эксплуатации. Мы очень спешим и потому не откажемся ни от одного политического маневра, ни от одной тактической уловки, которые могут приблизить день свержения фашизма и победы пролетариата **и** народа…»

Повторяю, я не могу сейчас вспомнить всех подробностей дискуссий, в том числе даже выступления Грамши. Отдельные мысли, которые я здесь привел, дают о нем лишь очень туманное, бледное и неполное представление.

Но как бы то ни было, дискуссия произвела на всех глубокое впечатление. Почти все ее участники были или убеждены в справедливости идей, высказанных Грамши, или по крайней мере глубоко затронуты ими. Вскоре Бордигу покинули почти все его сторонники».[28]

Но все это произошло не так легко, как пишет Монтаньяна. Нужен был какой-то толчок, какое-то внешнее событие, которое сразу изменило бы устоявшуюся систему представлений и вернуло бы мечтательных идеалистов к суровой действительности.

И такой толчок произошел. Такое событие имело место. Вызвало его трагическое «ДЕЛО МАТТЕОТТИ».

Дело Маттеотти

За много лет до начала событий, описываемых в этой главе, а именно в мае 1915 года, Бенито Муссолини писал: «Я все более и более твердо убеждаюсь, что для блага Италии необходимо стрелять, то есть стрелять в спину паре дюжин депутатов и отправить по крайней мере нескольких экс-министров на каторжные работы!»

Тогда, в канун вступления Италии в войну, эти его слова воспринимались еще как своего рода милая шутка. Но летом двадцать четвертого года угрозы дуче приняли вдруг сугубо реальный характер. И первой жертвой этих осуществляемых угроз пал Джакомо Маттеотти. Этот человек — секретарь Унитарной социалистической партии, реформист, был, несмотря на умеренность своих политических взглядов, одним из активных и мужественных борцов против фашизма. И он боролся с чернорубашечниками как мог и чем только мог. Депутат парламента — он произносил гневные и пылкие речи. В год его гибели, правда не в Италии, а за рубежом — в Лондоне и на английском языке — была опубликована его брошюра-памфлет «Год фашистского рабства». С парламентской трибуны он выступал против правительства и яростно клеймил правительственную беспомощность по отношению к фашизму. Бенито до поры до времени его терпел, хотя и называл «упрямым недругом».

А 30 мая 1924 года Джакомо Маттеотти в последний раз выступил на заседании палаты. В своей речи он нарисовал мрачную картину фашистских зверств и насилий, совершенных во время избирательной кампании. Маттеотти шел напролом. Парламентские маневры его не удовлетворяли — он требовал аннулировать все мандаты большинства. Говорил он гневно и мужественно, бросал обвинения прямо в лицо фашистам. Аннулирование результатов выборов он называл единственным путем к свободе и достоинству для итальянского народа. Оппозиция поддержала Маттеотти, подавляющее большинство ее во всяком случае. Чернорубашечники же вопили: «Ты не итальянец! Убирайся в Россию! Ренегат!» Палата была возбуждена, дело дошло чуть ли не до драки. Когда сессия закончилась, Маттеотти обратился к своим друзьям-социалистам. Он явно не питал никаких иллюзий относительно дальнейшего развития событий. «Теперь вы можете писать мой некролог!» — сказал он довольно хладнокровно.

10 июня 1924 года депутат Джакомо Маттеотти бесследно

исчез.

На следующий день повсюду распространялся настойчивый слух, что Маттеотти убит фашистами. Днем позже появился живой свидетель случившегося, швейцар одного из домов по набережной Тибра. Швейцар этот заявил, что своими глазами видел, как днем 10 июня пять человек силой втолкнули Джакомо Маттеотти в автомобиль в нескольких шагах от его дома. Маттеотти отчаянно сопротивлялся и призывал на помощь. Автомобиль рванул с места и умчался прочь. Бдительный привратник успел записать номер автомашины. И удивительное (а может быть, и не очень удивительное) дело — номер этот совпадал с номером прокатного автомобиля, предоставленного в распоряжение некоего Америго Думини. На его счету было два лично им совершенных убийства. Но бандит этот был не простой — это-то полиция отлично знала, — бандит этот был несомненнейшим фашистским агентом. Распоряжение о передаче машины в руки Америго Думини было дано редактором фашистской газеты «Римский Курьер» («Коррьере Романо») синьором Филиппо Филиппели, а последний принадлежал к ближайшему окружению злопамятного дуче!

В саквояже у арестованного Америго Думини полицейские чины обнаружили окровавленные брюки Маттеотти. Машина с указанным номером еще раньше попала в руки полиции. Кровавые пятна на обивке, разбитые окна: в машине, несомненно, шла яростная борьба, борьба не на жизнь, а на смерть. Началось следствие, напоминающее детективный фильм, сделанный в наилучшей голливудской манере. В газетах печатались лишь обрывки информации, странные и пугающие. Муссолини метал громы и молнии. Он распек своих несообразительных подручных. «Нужно было только помочиться на номер!» — заявил он им. Стало ясно, что к похищению и убийству депутата Маттеотти причастно фашистское правительство, и по всей стране пронесся шквал яростного возмущения: стало быть, Италией управляют убийцы?!

Муссолини начал лихорадочно маневрировать. Ему пришлось пожертвовать кое-кем из второстепенных исполнителей. И вот ряд лиц оказался под замком.

Чтобы удовлетворить общественное мнение, с которым чернорубашечникам тогда еще приходилось считаться, Муссолини решил швырнуть кость своим противникам. Он арестовал редактора Филиппо Филиппели и генерала Эмилио де Боно — одного из предводителей «похода на Рим».

Были смещены помощник министра внутренних дел Альдо Финци, личный секретарь Муссолини Бенедетто Фашоло и

секретарь фашистской партии по административным делам Джованни Маринелли.

Америго Думини признался, что он своею рукой убил Маттеотти в автомашине, нанеся ему несколько ударов кинжалом.

Тело Маттеотти все еще не было найдено, и возмущение народа все возрастало. Толпы людей приходили на набережную Арнольда Брешианского, на то место, где было совершено отвратительное преступление. Берег Тибра здесь был всегда покрыт цветами. 16 августа изуродованный труп Джакомо Маттеотти был обнаружен в камышах близ Квартареллы, примерно в двадцати километрах севернее Рима.

Муссолини приказал мобилизовать милицию. Но мало кто повиновался его распоряжениям. Бенито Муссолини при всей его импозантности, хитрости и изворотливости отличался одной особой чертой характера — он был патологическим трусом. Он чувствовал, что буря, охватившая всю Италию, угрожает его личному существованию, что буря эта может смести его и сметет, если только он не ухитрится совершить какой-нибудь из ряда вон выходящий вольт…

В Палате депутатов его назвали убийцей. И он, белый как смерть и трепещущий как лист, пробормотал лишь несколько жалких и лицемерных слов в свою защиту.

Быть может, если бы летом 1924 года все оппозиционные партии нашли общий язык и отважно выступили против правительства, фашизм был бы низвергнут и сметен.

К великому сожалению, оппозиция тогда еще далеко не была готова выступить сомкнутым строем. И события пошли совсем по иному пути. Поначалу, правда, оппозиционные партии действовали сплоченно. Они создали совершенно новый орган: «Комитет оппозиционных партий», или «Авентинский блок», как его чаще называли. Депутаты почти всех нефашистских партий вышли из парламента. По всей стране прокатились массовые митинги и демонстрации. Массы требовали немедленной отставки фашистского правительства. Коммунисты также вместе с другими депутатами-антифашистами покинули парламент и вошли в «Авентинский блок».

«Только коммунисты, — писал об этом Пальмиро Тольятти, — требовали активных действий и настаивали на этом. Единственным политическим актом, совершенным оппозиционными парламентскими группами, было специальное заседание в Палате депутатов, на котором они заявили, что не войдут в зал заседания парламента до тех пор, пока виновники убийства Маттеотти не будут наказаны, пока не будет

ликвидирована фашистская милиция и вообще прекращены всякие незаконные действия. Так началось создание «Авентинского блока». Коммунисты приняли участие в блоке, ибо его создание было правильным актом…».[29]

От имени коммунистической фракции парламента Антонио Грамши предложил немедленно объявить по всей Италии всеобщую забастовку. Превратить «Авентинский блок» в антипарламент, то есть в активную силу, которая могла бы, выражая волю народа, издавать законы и убеждать граждан подчиняться только им.

Однако депутаты-авентинцы «испугались народного движения, хотя фактически сами же были его руководителями. Они пошли по пути чисто журналистской кампании разоблачения и не сходили с него, ожидая, что король примет соответствующие меры против фашистов, и даже не выдвигая для этого формального предлога; тем самым они дали возможность фашизму набраться сил и в конечном счете сами потерпели поражение».[30]

Предложение Грамши было отвергнуто участниками «Авентинского блока», но и вернуться в парламент они не намеревались. Словом, они, по сути дела, отказались от решительных антифашистских действий.

В подобных обстоятельствах коммунистам оставалось одно: вернуться в парламент и с его трибуны разоблачать деятельность фашистского правительства.

В эти дни коммунистическая партия вновь была на подъеме. Ибо выяснилось, что из всех антифашистских сил, какие были к этому времени в стране, коммунистическая партия наиболее последовательная, наиболее сплоченная и наиболее боевая сила. Массы подхватили лозунг коммунистической партии. Во время уличных столкновений с фашистами коммунисты не раз бывали во главе.

«Я думаю, что в эти дни наша партия стала подлинной партией масс», — писал Антонио Грамши.

Впоследствии, вспоминая о «кризисе Маттеотти», Грамши говорил: «…Мы ходили у кратера действующего вулкана. Внезапно, когда никто этого не ожидал, а в особенности фашисты, архиубежденные в своем бесконечном могуществе, вулкан начал извергать огромный поток кипящей лавы, которая обрушилась на всю страну, разрушая все связанное с фашизмом. События развертывались с молниеносной, неслыханной быстротой; каждый день, каждый час положение менялось, режим был взят в кольцо, фашизм в стране оказался изолированным, и эта изоляция чувствовалась в панике, охватившей его главарей, в

бегстве его приверженцев…»[31]

В эти дни у руля встало новое руководство компартии, возглавляемое Грамши.

Им и была выработана единственно правильная политическая линия, линия, соответствующая запросам масс, соответствующая задачам активной антифашистской борьбы.

Грамши понимал, что сейчас дело идет о том, чтобы свергнуть фашистскую диктатуру. А могут ли добиться этого отдельные антифашистские группировки, действующие разобщенно? Нет, никогда! Стало быть, надо вступить на путь объединения всех антифашистских сил нации, создать широкий фронт оппозиции.

Вот именно этим летом двадцать четвертого года коммунисты и выступили с предложением создать единый антифашистский фронт, который объединил бы всех трудящихся, всех демократов.

Грамши ищет союзников, союзники эти вербовались в различных политических группах — кое-кто из вновь обретенных друзей вступил в коммунистическую партию как таковую, например группа «социалистов-третьеинтернационалистов», и теперь нужно было добиться того, чтобы за формальным слиянием и объединением последовало образование и создание истинного единства партии.

Но дело не ограничилось одними только социалистами. Предпринимались попытки связаться с руководителями католических организаций, имевших массовую опору в деревне и немало сторонников в городах Италии.

Грамши находит друзей среди антифашистских деятелей его родного острова, среди сардов; добрые отношения завязались у него с одним из представителей так называемого «сардизма» — Эмилио Люссу. И даже кое-кто из буржуазных либералов поддался его влиянию.

Коммунистическая партия к этому времени выросла и окрепла, тираж «Униты» вырос чуть не вдвое. Начинался сдвиг влево. Конечно, до победы было еще очень и очень далеко. Но процессы, завершившиеся много лет спустя свержением фашизма, очищением Италии от фашистской скверны, процессы эти взяли свое начало в те трудные и беспокойные дни.

Письма из тревожного Рима

Итак, Антонио Грамши в Риме в гуще событий!

А они развивались с молниеносной, с поистине неслыханной быстротой. В наши дни это назвали бы «цепной реакцией». Положение менялось ежечасно, ежеминутно. Фашизм оказался изолированным. Главарей его охватила паника. Приверженцы его разбегались. В эти дни Антонио вел поистине лихорадочную работу. Вышедший из берегов народный поток надо было вводить в русло организованной борьбы. Надо было принимать немедленные решения, давать директивы. Это было первое испытание молодой партии итальянских коммунистов. И партия выдержала это испытание с честью. Но до окончательной победы было еще очень и очень далеко. Острая фаза кризиса вскоре прошла. И тогда фашизм начал собирать свои изрядно потрепанные силы. И приходилось признать, что чернорубашечники все-таки продолжают господствовать в стране. Господство это покоилось на поддержке фашизма всем государственным аппаратом. Организованная бюрократическая и военная машина противостояла народным массам. Массам распыленным и дезорганизованным. И все же коммунистическое движение сделало большой шаг вперед. Газета коммунистической партии утроила тираж. Во многих центрах Италии коммунисты становились во главе масс и пытались разоружить фашистов. Коммунистические лозунги принимались и подхватывались массами, в особенности рабочими массами. Конечно же, человек менее трезвый, чем Антонио Грамши, мог бы увлечься, у него могла бы закружиться голова от действительных или мнимых, кажущихся успехов. Но Антонио был не из тех, кто легко и бесконтрольно увлекается. Он видит слабость и неорганизованность масс. И он не питает излишних иллюзий. И слова его в эти дни звучат довольно сдержанно. Вот что он пишет: «Я участвовал в собраниях всех парламентских оппозиционных групп, которые в глазах общественного мнения являли собой руководящий центр движения. Громкие слова, но никакой воли к действию; невероятный страх, что мы возьмем верх, и отсюда маневры, направленные к тому, чтобы заставить нас покинуть собрание. Какой опыт я приобрел за эти дни! Увидел лицо «мелкой буржуазии» со всеми ее типичными классовыми особенностями. Наиболее отталкивающая часть ее — пополари и реформисты, не говоря уже о максималистах, этих незадачливых бедняках. Самыми симпатичными были Амендола и генерал Бенчивенга из конституционной оппозиции, которые заявили, что

они в принципе за вооруженную борьбу и даже согласны (во всяком случае, на словах) выполнять приказы коммунистов, если те окажутся в состоянии поднять армию против фашизма». [32]Антонио, пожалуй, несколько недооценивал тогда генерала Бенчивенгу. Бенчивенга возглавил впоследствии партизанские отряды Сопротивления. Но произошло это много лет спустя — в сорок третьем году, когда самого Грамши уже не было в живых. Ах, как пестры были ряды тогдашней оппозиции! И конечно же, эта пестрота делала почти неосуществимым какое бы то ни было реальное объединение их в борьбе против фашизма. Грамши пишет: «Один депутат от социальных демократов (есть такая сицилийская партия, объединяющая владельцев латифундий и крестьян), **герцог** Колонна ди Чезаро, бывший до марта министром в правительстве Муссолини, утверждал, что он больший революционер, чем я, так как он призывает к индивидуальному террору против фашистов. Все, разумеется, против моего предложения о всеобщей забастовке и об обращении к пролетарским массам». По Риму ходили самые невероятные слухи. Ожидали чего угодно: государственного переворота силами фашистов-экстремистов (и такая попытка действительно была предпринята — чрезмерно правоверных чернорубашечников разогнали с помощью крупных воинских соединений и карабинеров)… Ожидали военного переворота. Оппозиция не хотела возвращаться в парламент, пока не будут арестованы фашистские вожаки, ответственные за убийство Маттеотти. Потом все постепенно улеглось. Муссолини мало-помалу овладевал положением. Но фашистские власти, видимо, считали еще преждевременными ликвидацию демократических учреждений, роспуск политических партий и прочие мероприятия того же плана. Все это, впрочем, стояло в порядке дня и спустя некоторое время было осуществлено. Но летом двадцать четвертого года до этого еще не дошло. Антонио пишет:

«Могу свободно передвигаться по городу и встречаться **с** товарищами, находящимися на нелегальном положении, потому что полиция не функционирует, так же как и все органы фашистского государства, — все чиновники саботируют. Не знаю, сколько может продолжаться такое положение вещей. После трех лет нелегального положения, когда все были заняты лишь тем, чтобы сохранить организацию, события ввергли теперь партию в очень тяжелые испытания. Надо действовать, вести агитацию, выходить из подполья; товарищу не подготовленные к этому неожиданному скачку, оказались не вполне уверенными в себе. За те два года, что я находился не в Италии, я очень многому научился, приобрел большой опыт, необходимый для того, чтобы

работать уверенно…»

Из писем Антонио Грамши можно почерпнуть многое. В них поступь времени, воздух эпохи. Но письма эти не только отражение реальных исторических событий. Это еще и отражение облика человека, писавшего их. И поэтому трудно устоять перед искушением дать эти письма в их первозданной форме, не пересказывая их, а воспроизводя их в том виде, в котором они вылились из-под пера.

При чтении писем Антонио Грамши возникает удивительное ощущение: это нечто вроде живого теплого человеческого голоса, голоса, который, записанный некогда, воспрянул ныне из каких-то электронных тайников. Это ощущение ни с чем несравнимо. Собственная речь Грамши, пусть и зафиксированная некогда письменно, доходит до нас сквозь толщу сорока или пятидесяти лет — едва ли можно охарактеризовать тогдашнюю Италию более метко, более выразительно, более жизненно.

Вот они, эти письма!

Из письма от 21 июля 1924 года. Рим.

Дни проходят тускло и печально. Внешне как будто все застыло: в стране, в массах населения идет огромная подспудная работа, но это скрытые, молекулярные процессы. Для того чтобы понять их, руководить ими, требуется громадное напряжение. Можно совершить, даже невольно, серьезнейшие ошибки (и они действительно совершаются), потому что в каждой области страны свое особое положение, и, для того чтобы контролировать и направлять события по определенному руслу, нужна большая партия, привыкшая к систематической работе, способная во всех своих звеньях осуществлять указания центра. Стоит страшная жара, и я опять страдаю бессонницей, чувствую общую слабость; мне трудно, работа приводит мои нервы в плачевное состояние. Столько нужно было бы сделать, но мне это не удается.

Я думаю о тебе, о том, как сладостно любить тебя, знать, что ты близка мне, хотя ты и далеко. Дорогая Юлька, даже мысль о тебе помогает мне быть сильнее. Но пока мы в разлуке, у меня не будет нормальной жизни: любовь к тебе — такая неотъемлемая часть моего существа, что я не могу чувствовать себя хорошо, когда тебя нет.

Может быть, здесь играют известную роль усталость и воспоминание о той гармонии, которую я ощущал в дни нашего счастья. Но мне кажется все же, что невозможно делить себя на части и быть активным лишь в каком-то одном смысле: жизнь есть нечто целостное, и каждый вид деятельности усиливает все остальные проявления личности…

Начну с моего приезда в Италию, путешествия по железной дороге от Тарвис до Милана через Венецию. Расскажу о моем разговоре с одним фашистом, который хотел, чтобы Италия аннексировала Ниццу, Савойю, Мальту, Тичинский кантон. Этот фашист совсем потерял голову, когда я принялся разыгрывать из себя роль сардинского националиста и научно доказал ему, что фашистская Италия обречена утратить Сардинию: несчастный не знал, что ответить на мои аргументы, и в отчаянии пытался убедить меня, что я не прав. Я развлекался безмерно. Потом я услышал разговор одного промышленника, владельца шелкопрядилен из Скио, с землевладельцем из Падуи, этот разговор произвел на меня мрачное впечатление, так как оба собеседника казались очень уверенными в себе и сильными…

А потом — нечто другое: цветущие красные гвоздики на груди римских рабочих в ту ночь, когда все узнали, что партия призывает ко всеобщей забастовке. Около полуночи я возвращался домой, и весь квартал Порта Пиа, который я пересекал, кишел рабочими с красной гвоздикой на груди: они царили на улицах, на городских окраинах, там чувствовалась атмосфера восстания, в то время как в центре фашисты со своими стилетами и ножами, запрятанными в трости, пытались создать панику. Впрочем, их стилеты исчезали, едва появлялся отряд солдат, готовых открыть огонь. Но… мне было немного грустно, что я вернулся в Италию, когда положение значительно улучшилось; я только слушаю рассказы о терроре, пережитом в самые острые моменты фашистского разгула, знаю от других, как фашисты, думавшие, что я в Турине, охотились за моей тенью и вместо меня избили и изранили моего брата. Я уверен, что они не схватили бы меня, но хотел бы испытать это ощущение: чувствовать, как за тобой яростно охотятся, и уйти от их бессильной ярости.

Представь себе мое положение сегодня: я живу… в одной немецкой семье, которая не знает моего настоящего имени и не знает, что я депутат-коммунист; я разыгрываю из себя серьезного-пресерьезного профессора, меня очень уважают и так пекутся о моем покое, что это даже раздражает.

Из письма от 18 августа 1924 года.

У меня такое чувство, что я нахожусь в привилегированном положении, потому что ныне волей судеб мне было отведено одно лишь счастье. Моя любовь к тебе слишком сильна, слишком интенсивна, наши жизни настолько слиты, что я не могу освободиться от этих грустных мыслей. Вот. А потому у моего счастья немного вытянутая физиономия. Работы очень много, но

она не такая, которая могла бы захватить всю жизнь и все помыслы. События развиваются неумолимо. Нужно реорганизовать партию, которая слаба и в целом работает очень плохо. Я вхожу в политический центр и являюсь генеральным секретарем; должен был бы быть и редактором газеты, но не хватает сил. Я еще малоработоспособен. А надо бы контролировать все, следить за всем. Завтра я выезжаю в Милан и Турин, посмотреть, как работают эти две крупнейшие наши организации. У нас не хватает руководящих работников, особенно в Риме. Собрания, в которых я участвую, радуют преданностью и энтузиазмом товарищей, но в то же время настраивают пессимистически: не хватает общей подготовки. Ситуация складывается превосходно для нас: оппозиционные группы организуют движение военного характера и вооружают… наших товарищей. Фашизм раскалывается, он точно обезумел, не может осуществить ни одного политического мероприятия… Все оборачивается против него. Но развитие событий будет относительно медленным, потому что нас еще слишком мало и мы слишком плохо организованы.

Из письма от 18 сентября 1924 года.

…здесь мне нужно было бы много работать, но не всегда удается сделать то, что нужно. До самых последних дней я был относительно спокоен: мог передвигаться довольно свободно, хотя и с большими предосторожностями. Каждую неделю проводил три-четыре собрания как с руководящими кадрами партии, так и с товарищами из местных организаций. Собрания очень интересны, особенно е рабочей массой. Беседы, споры, информации, проблемы, которые надо решать, принципиальные и организационные вопросы, которые надо улаживать. Тяготение к нашей партии исключительно велико: за месяц пропаганды мы почти утроили число членов, тираж газеты за три месяца вырос на 1200, на нашу литературу громадный спрос, вокруг наших ячеек воссоздаются профсоюзные организации. Чрезвычайный успех имеет наша пропаганда среди крестьян. Наша аграрная секция отпечатала 2000 членских билетов для Национальной ассоциации в защиту крестьян, а из одной только Сиенской провинции запросили 5000 билетов. Все это, конечно, не означает, что мы вышли из затруднений. Партия продолжает фактически, если не юридически, оставаться нелегальной: каждое обнаруженное собрание разгоняют, товарищей арестовывают и по нескольку дней держат в тюрьме. Надо быть очень осторожным в связях, во встречах с товарищами, которые работают в партийном аппарате, чтобы избежать провала, конфискации и уничтожения

архивов и бумаг. Раньше меня оставляли в покое, но после убийства депутата-фашиста Казалини я оказался под надзором: на днях меня узнал один туринский фашист и указал на меня группе своих дружков; полиция «с целью защиты» начала тщательно следить за каждым моим шагом, что вынуждает меня тратиться на автомобили, вместо того чтобы пользоваться трамваем, когда надо ехать на какое-нибудь собрание. Не могу написать тебе о куче разных вещей, потому что не доверяю почте. Опыт нашей работы в Италии исключительно интересен и непрестанно выдвигает все новые проблемы, требующие разрешения.

Из письма от 10 ноября 1924 года.

…вот уже три дня как я вернулся из Сардинии: застал здесь два твоих письма. Мне пришлось бы написать целый том, чтобы рассказать обо всех впечатлениях этих дней. События развиваются молниеносно, причем в таких причудливых формах, что для того, чтобы дать им оценку, понятную тем, кто не живет в Италии, не варится в самой гуще, понадобилось бы систематизированное исследование психологии фашизма, знаменующего острую фазу стремительно быстрого распада буржуазного общества, который происходит в момент, когда пролетариат еще недостаточно организован для захвата власти.

Деморализация, подлость, коррупция, преступность приняли неслыханные размеры: мальчишки и дураки оказываются хозяевами политического положения и плачут или сходят сума под грузом исторической ответственности, которая внезапно легла на плечи этих честолюбивых, безответственных дилетантов, трагедия и фарс чередуются на сцене без всякой взаимосвязи; хаос достиг пределов, казавшихся немыслимыми даже для самой разнузданной фантазии.

Иногда у меня создается такое впечатление, что я сам словно тростинка в этом историческом урагане, но у меня достаточно энергии, чтобы сохранять, насколько возможно, хладнокровие и делать то, что я считаю нужным… Дорогая, может быть, все дело в том, что мне не удается представить себя в роли отца. У себя на родине я долго играл с одной четырехлетней племянницей… Я словно вернулся к своему детству и три дня развлекался всем этим больше, чем визитами местной знати, в том числе фашистов, которые являлись ко мне весьма важно и торжественно, чтобы поздравить с тем, что я… депутат, хотя и депутат-коммунист.

«Сардинцы идут в гору!…Э-э! Жми, Парис! Вперед, Сардиния!» Весело, конечно. Но пришли также члены местного

Общества взаимопомощи, объединяющего ремесленников, рабочих и крестьян, и, подталкивая своего председателя, которому вовсе не хотелось нарушать аполитичность общества, задали мне много вопросов: о России, о том, как работают Советы, о коммунизме, о том, что такое капитал и капиталисты, о нашей тактике по отношению к фашизму и т. д. Эта встреча была очень интересной, потому что если, с одной стороны, она показала мне, насколько распространены предрассудки и как отстала итальянская деревня, то, с другой стороны, выявила глубину существующего недовольства и огромную притягательную силу России. «Мы все хотим быть русскими!» — с этим согласился даже председатель, хотя и со многими «э-э». Когда я приведу в порядок свои воспоминания, опишу тебе несколько характерных для здешней жизни эпизодов.

Из письма от 26 ноября 1924 года.

Через несколько дней уеду снова и пробуду в Милане по меньшей мере дней пятнадцать. Работаем, не переводя дыхания. Политическое положение сложилось так, что мы вынуждены вести кропотливую, но в целом гигантскую работу. Пролетариат пробуждается и вновь обретает сознание своей силы; еще явственнее пробуждение крестьян, экономическое положение которых ужасно. Но организовать массы еще трудно, и партия в целом — ее ячейки и деревенские группы — тяжела на подъем и медленно работает.

Центр партии должен постоянно бывать на местах, стимулировать и контролировать работу, помогать товарищам, направлять их, работать вместе с ними. Мы стали очень сильны; нам удается проводить открытые митинги прямо на предприятиях, в присутствии 4000 рабочих, которые рукоплещут партии и Интернационалу. Фашисты уже не вызывают такого страха; уже есть случаи, когда после митинга люди выстраиваются в колонны, чтобы идти приступом на дом кого-нибудь из фашистских главарей. Буржуазия разъединена, она не в состоянии создать авторитетное правительство и вынуждена отчаянно цепляться за фашизм, оппозиция слабеет и, по существу, хочет лишь добиться от Муссолини большего соблюдения легальных форм.

Из письма от 12 января 1925 года.

Я живу интенсивнейшей жизнью, подстегиваемый стремительно развивающимися событиями. Нельзя, однако, предвидеть в ближайшем будущем крах фашизма как режима — разве только как фашистского правительства… Мы в Италии

переживаем фазу, какой, мне кажется, не знала ни одна другая страна, — фазу, полную неожиданностей, потому что фашизму удалось осуществить свою цель: уничтожить все организации и, следовательно, все возможности для того, чтобы массы могли выразить свою волю. Это положение ясно огромному большинству…

А правительство Муссолини решило провести через парламент закон, запрещающий тайную, но безобидную религиозно-нравственную организацию — масонские ложи.

16 мая 1925 года Грамши выступил в парламенте с речью: «Масонство — это лишь флаг, под которым хотят протащить реакционный антипролетарский товар! Вас беспокоит вовсе не масонство, так как масонство само превратится в придаток фашизма. Этот закон должен послужить вам как средство против рабочих и крестьян, которые поймут это очень хорошо, увидя, каким образом он будет применяться. Мы хотим разъяснить широким массам, что вам не удастся подавить организационные проявления их классовой борьбы, потому что против вас весь ход развития итальянского общества… Вы, фашисты, вы, фашистское правительство, несмотря на всю демагогию ваших речей, не преодолели еще до вас возникших глубоких противоречий итальянского общества, напротив, вы заставили классы и народные массы почувствовать их еще сильнее. Вы действовали в условиях существования этих противоречий, именно в силу этих противоречий. Вы подлили масла в огонь, разведенный всем предшествующим ходом развития капиталистического общества, и надеетесь при помощи закона против организаций ликвидировать самые пагубные последствия ваших деяний. Вы можете «завоевать государство», можете изменить кодексы законов, вы можете попытаться запретить организациям существовать в той форме, в которой они существовали до сих пор, но вы не можете стать сильнее объективных условий, в которых вы вынуждены действовать. Вы только заставите пролетариат искать новый путь борьбы, отличный от того пути организации масс, который до сих пор являлся наиболее распространенным. Мы хотим с этой трибуны, обращаясь к пролетариату и итальянским крестьянским массам, сказать, что революционные силы Италии не позволят раздавить себя, что вам не удастся осуществить ваши гнусные замыслы».[33]

Велио Спано, член руководства Итальянской компартии, так рассказывает об этом выступлении:

«Речь, произнесенная Грамши в Палате депутатов в мае 1925 года, явилась большим событием в парламенте. Во время

выступления Грамши все депутаты приблизились к скамьям крайних левых, чтобы лучше слышать его тихий спокойный голос; на большой фотографии, помещенной в одной римской газете, глава фашистского правительства был изображен сидящим, приставив ладонь к уху, и напряженно слушающим. В его позе чувствовалось внимание врага, изучающего своего противника. Может быть, уже тогда, страшась вождя итальянского пролетариата — человека выдающегося ума, несгибаемой воли, Муссолини замышлял совершенное им впоследствии медленное и подлое убийство — одиннадцать лет изощренных, утонченных пыток. Отчет об этом заседании парламента, опубликованный в газетах, и упомянутая фотография горячо обсуждались во всем Риме и, несомненно, во всей Италии. Мы, молодые коммунисты, гордились тем, что мы члены партии Грамши, и не могли этого скрыть от него, рассказывая о том, какие отклики вызвала его речь среди римских рабочих. Он, как обычно, выслушал нас до конца, потом, в заключение беседы, сказал с присущей ему скромностью: «Страна начинает прислушиваться к голосу нашей партии; и она будет тем чаще прислушиваться к нему, чем успешнее мы сумеем проводить политику, выражающую интересы широких масс, политику единого фронта…»[34]

Из письма от 25 мая 1925 года.

Работа идет очень беспорядочно и неорганизованно. Это отражается на моем душевном состоянии, и без того достаточно неспокойном. Трудности возрастают — теперь у нас имеется закон об организациях (то есть против них), прелюдия планомерной полицейской деятельности, направленной к уничтожению нашей партии. Этому закону был посвящен мой дебют в парламенте. Фашисты обошлись со мной милостиво на этот раз, следовательно, с революционной точки зрения, я начал неудачно. Они собрались вокруг меня и дали мне сказать то, что я хотел. Правда, они непрестанно прерывали меня, но лишь для того, чтобы увести от темы выступления, а не с целью сорвать его. Я развлекался, слушая то, что они говорили, но не сумел удержаться, чтобы не отвечать на их реплики, а это было им на руку, потому что я устал и не мог больше продолжать в том плане, который первоначально наметил…

Из письма от 1 июня 1925 года.

Внешне моя жизнь протекает спокойно, то есть незаметно никаких крупных, драматических перемен. Однако события развиваются неумолимо, и надо сосредоточить все внимание, чтобы следить за ними, понимать их и пытаться руководить ими.

Реально значимые социальные силы все больше группируются либо вокруг фашистов, либо вокруг нас, промежуточные партии медленно умирают. Кризис захватывает всех. В некоторых кругах интеллигенции, куда, казалось, мы никак не могли проникнуть, начинают раздаваться голоса, требующие единого фронта с революционными рабочими. Наши успехи в организации рабочего класса все более очевидны. Поэтому все яснее определяются некоторые основные моменты ситуации.

1. Реформисты (которые хотят лишить нас возможности доказать публично, что мы являемся самой сильной рабочей партией) грозят нам расколом в профсоюзах;

2. Фашисты по той же причине грозят переломать нам ребра;

3. Крайние левые ведут внутри партий подрывную работу, добиваясь создания фракций.

Мы слишком сильны, чтобы не брать на себя инициативу в отдельных столкновениях, но слишком слабы, чтобы идти на открытую, решающую схватку.

Поэтому кажущееся спокойствие насыщено постоянной тревогой и напряжением…

Стараюсь убегать из этой политической пустыни, часто навещая Татьяну[35], которая напоминает мне тебя.

Из письма от 12 июля 1925 года.

…я был далеко от Рима и упустил две возможности написать тебе. Я путешествовал: ездил в Венецию и в Триест, чтобы обсудить с тамошними товарищами внутреннее положение в партии, которое оказалось очень хорошим, несравненно лучше, чем я думал. На съезде мы получили подавляющее большинство: партия оказалась более большевистской, чем можно было предполагать, и очень энергично реагировала на фракционизм бордигианских экстремистов. Наша политическая линия уже одержала победу внутри партии, поскольку экстремистское течение раскололось и большинство ответственных его участников примкнуло к платформе Интернационала, а также среди трудящихся масс, поскольку наша партия завоевала большое влияние и руководит извне массой членов других партий.

Депутат парламента, коммунист Руджеро Гриеко рассказывает:

«Я приведу только два эпизода, хотя подобных им было много. Первый из них произошел во время торжественного заседания, состоявшегося в июне 1925 года… по случаю двадцатипятилетия правления короля Виктора-Эммануила III… Мы решили принять участие в этом заседании и выступить на нем

с антимонархическим заявлением. Эта задача была возложена на товарища Эджидио Дженнари… Фашистские депутаты хотели по обыкновению наброситься на нас, но «торжественный» характер заседания помешал их обычным хулиганским выходкам… Второй эпизод произошел в ноябре того же года, когда возобновились заседания Палаты депутатов после покушения Дзанибони на Муссолини… Когда началось обсуждение протокола предшествующего заседания, слово взял Фабрицио Маффи, который заявил, что имевшее место накануне восхваление дуче в Палате депутатов и проведение молебнов по случаю его избавления от опасности, не соответствует чувствам итальянского народа… Тут началось светопреставление… На нас накинулась толпа одержимых; хватая за волосы, они избивали нас кулаками… На следующий день мы явились на очередное заседание…»

21 января 1926 года за пределами Италии, в Лионе, открылся третий съезд Коммунистической партии Италии. Грамши выступил с докладом об общей политике партии. Тезисы, выдвинутые Грамши, были приняты большинством в 90,8 процента голосов.

Съезд знаменовал собой полную победу партии в борьбе с бордигианцами по двум кардинальным вопросам: ленинское учение о партии и анализ движущих сил революции в Италии.

Из письма от 14 октября 1926 года. Рим.

Моя дорогая Юлька, не получал никаких вестей от тебя после 14 сентября, то есть ровно месяц. Поэтому я несколько озабочен и опечален. Последнее время мне удается делать гораздо больше, чем удавалось в прошлом. Я опять стал довольно много писать для наших газет, преодолев некое умственное оцепенение, овладевшее мною с некоторых пор: мне казалось, что я уже не способен написать что-нибудь интересное и литературно сносное, и это ощущение стало прямо-таки болезненным. Я постарался так или иначе перебороть его, хотя убежден, что пройдет немало времени, прежде чем я опять буду в полной форме. Добиться этого мне во многом помогли постоянные, упорные мысли о тебе и наших детях. Знаешь, бывают минуты, когда я буквально места не могу себе найти от беспокойства; когда я думаю о том, что ты до сих пор одна несешь бремя забот о двух детях, не говоря уже о лежащей на тебе всякой другой ответственности, мне обидно и грустно. До тех пор, пока мне не удастся окончательно и прочно изменить теперешнее положение вещей, мне будет казаться — вопреки всему, — что я недостаточно люблю тебя и обоих детей.

В отместку за эти черные мысли я яростно обрушиваюсь на наших врагов, которые в газетах изображают нас как набобов, купающихся в золоте. Но не хочу больше говорить тебе об этом, чтобы ты не думала, будто я всегда мрачен и угрюм. Напротив, я чувствую себя довольно хорошо. Я хочу говорить с тобой о чем-нибудь серьезном и в то же время веселом: например, об анкете газеты «Пикколо» на тему о счастливых женах, которую ты, конечно, припомнишь. Премией отмечен ответ, сформулированный примерно так: «Счастлива женщина, вышедшая замуж за человека, с которым охотно изменила бы мужу». Газета решила, что этот ответ — квинтэссенция глубокого проникновения в психологию жен. Мне тоже кажется, что ответ имеет известное психологическое и историческое значение для характеристик нравов и уровня мышления определенного класса в определенную эпоху. Надо было бы сообщить о нем какому-нибудь специалисту по эротическим вопросам (например, Колл.), чтобы об этом было написано произведение животрепещущей актуальности. Удалось ли мне заставить тебя улыбнуться? Тогда я хочу крепко-крепко обнять тебя именно сейчас, пока ты улыбаешься, вместе с обоими нашими детьми (первенцем и вторым сыном, можем мы сказать сейчас весьма торжественно).

Ант.

Только что получил твои письма от 26/9. Очень люблю тебя, обнимаю. А.

Из письма от 27 октября 1926 года. Рим.

…на этой неделе я опять не получил никаких известий от тебя. 30-го, то есть через три дня, я выеду из Рима и попытаюсь выбраться из страны, чтобы попасть на расширенный Пленум ИККИ. Не вполне уверен, удастся ли мне это, но, кажется, есть кое-какие благоприятные возможности. Как только попаду на советскую территорию, протелеграфирую тебе, но, как и в прошлый раз, прошу тебя, приходи на вокзал только в случае хорошей погоды и если будешь абсолютно свободна. Таким образом, для меня наступает период, может быть долгий, когда я ничего о тебе не буду знать и не смогу писать тебе. Но меня несколько утешает надежда увидеть всех вас

Обнимаю тебя и детей. Антонио.

Из письма от 4 ноября 1926 года. Рим.

Моя дорогая Юлька!

Получил твое письмо от 26 октября и могу еще ответить тебе, так как в связи с одним случайным обстоятельством мне пришлось вернуться в Рим. Однако мое последнее письмо в

основном остается в силе.

Как мне хотелось бы приласкать тебя, крепко-крепко прижать к себе твою бедную голову. И успокоить тебя — неправда, будто во мне зародились и продолжают укореняться одни лишь мрачные мысли. Мне кажется, все дело вот в чем: возникающие у меня мысли приобретают, в силу моего крайнего душевного одиночества, форму холодной схемы, когда я пытаюсь их выразить. Ты же, напротив, живешь в мире вечно свежих и живых впечатлений. И вот, когда эти мои мысли, выраженные в такой возбужденной и жалобной форме, доходят до тебя, это производит ужасное и, как ты пишешь, пугающее впечатление. Но ты должна понять, что такое восприятие ошибочно, ты должна постараться представить себе мое душевное состояние, учитывая окружающую действительность, которая тебе известна, и мой характер, сложившийся за двадцать лет одинокой жизни, без близких людей, когда развивались только способности критически мыслить и закалялась воля. Тебе не кажется правильным то, что я говорю? Я был бы просто несчастен, если бы мне не удалось добиться того, чтобы ты понимала меня, чтобы ты чувствовала, даже за холодной броней моих фраз, всю безмерность моей любви и моего непоколебимого доверия.

Может быть, я опять был неловок. Но мне хотелось бы помочь тебе стать еще сильнее, чем ты есть, чтобы ты сохранила спокойствие в гуще событий и поэтому могла подчинить их себе. Надеюсь, что к моменту, когда ты будешь читать эти слова, Делька уже поправится и Женя тоже, и ты сможешь ждать моего приезда не в такой тревоге. Я хотел бы увидеть всех вас спокойными — может быть, из эгоизма, из-за неудержимого желания время от времени получать свою долю радости. Обнимаю крепко, любимая, тебя и детей.

Ант.

Это последнее письмо, написанное Антонио Грамши на воле.

«Леджи фашистиссиме» — «чрезвычайные законы»

Муссолини не был свергнут.

Он воспользовался поддержкой короля, закрывавшего глаза и затыкавшего уши, когда ему пытались предъявить доказательства несомненнейшей и полнейшей причастности дуче к убийству Маттеотти.

Ветераны войны отказали Муссолини в поддержке: их представитель — депутат Виола, кавалер золотой медали, намеревался вручить королю резолюцию против фашизма, которую приняли ветераны.

Вот как один очевидец описывает эту аудиенцию:

«Момент был торжественный. Депутат Виола был убежден, что он представляет итальянский народ и жертв войны. Каждый думал — это исторический момент. Посланцы народа затаили дыхание, только глаза выдавали их волнение. Ни одно посольство язычников не ожидало с большей тревогой ответа оракула. Король, бледный, выслушал всю речь, а затем произнес с мрачной улыбкой призрака: «Дочь моя нынче утром убила двух перепелок». Делегация была поражена.

Менее всех прочих итальянских граждан был поражен, естественно, сам Бенито Муссолини. Он убедился в том, что положение его укрепилось.

Артуро Лабриола, один из деятелей «Авентинского блока», подводил итоги событий в таких выражениях:

«Фашизм остался в седле, более замкнутый, более мрачный, более пагубный, чем раньше, и в большей степени, чем раньше, владеющий своей волей и своими мускулами. И вопрос о том, какие силы могут устранить его, остается в еще большей степени, чем раньше, открытым и нерешенным».

Муссолини принялся за неотложные административные меры.

Прежде всего он произвел многочисленные персональные замены и перемещения. Заменены были квесторы и секретари профессиональных федераций фашистской партии, во всяком случае все те из них, которые в решительный час проявили колебания.

Он страшился восстановления хотя бы внешне демократических порядков, страшился, что восстановление их будет всего лишь первым этапом общей политической эволюции влево. Подобная эволюция была не с руки Виктору-Эммануилу, и

он стал подлинным союзником Муссолини и более того — спасителем. Были состряпаны декреты заведомо антиконституционного характера, явно рассчитанные на то, чтобы нанести смертельный удар оппозиции. Король тайно подписал эти декреты. И Муссолини держал их наготове. Он предполагал с их помощью сразить оппозицию, раз и навсегда свалить ее с ног.

Это была подготовка к новому государственному перевороту, который и совершился 3 января 1925 года. В этот день Муссолини произнес речь перед Палатой депутатов. Чрезвычайно знаменательную речь. Она обозначила собой завершение периода конституционного правления в Италии. Это был откровенный переход к диктатуре. Начал дуче с того, что сослался на свою речь, произнесенную 16 ноября 1922 года, на свою первую речь в палате после «похода на Рим». Тогда, осенью 1922 года, Муссолини был еще под впечатлением как по нотам разыгранного, великолепно удавшегося «похода». И говорил он нагло и самоуверенно. Смысл его речей был в том, что у него, у дуче, есть 300 тысяч пылких приверженцев, готовых в любую минуту выполнить любой его приказ («самым мистическим образом» — несколько туманно выразился дуче). Он, Муссолини, может наказать всех тех, кто клеветал на фашизм, всех тех, кто забрасывал его грязью! Его юные мистики преотлично вооружены! И он, Бенито, может превратить этот глухой и серый зал (следовал трагический жест) в бивак для наших манипул (то есть в постой для наших легионеров). Так он подготавливал аудиторию к восприятию своих дальнейших выпадов. Сославшись на давнишнюю речь, он вдруг задал аудитории следующий нагло-риторический вопрос:

— Нет ли среди вас депутата, который готов использовать преимущества и обвинить меня, Муссолини, перед самым высоким и самым справедливым судом?

Следует вспомнить обстановку, в которой этот риторический вопрос был задан; почти все депутаты оппозиции находились тогда еще на Авентине, подавляющее большинство присутствовавших парламентариев составляли приверженцы Муссолини, и они бешено зааплодировали. Они орали: «Мы все с вами! Да здравствует Муссолини!» и тому подобное.

А он заявил, что не причастен к убийству Маттеотти, но принял на себя то, что назвал «практической, моральной и исторической ответственностью за все, что случилось». Смысл его дальнейшей речи заключался в следующем: «Если фашизм — это только касторка и дубинка, а не высочайшая страсть цвета итальянской молодежи, то это его, Муссолини, вина, его промах,

его грех… Если фашизм сделался преступным сообществом, то он, Муссолини, глава этого преступного сообщества. Если все насилия были следствием и результатом определенного исторического, политического и нравственного климата, то он, Муссолини, за все это ответствен, ибо он создал этот политический и нравственный климат посредством пропаганды, которую и распространял с момента вступления Италии в войну и по сей день».

Государственный переворот, хотя, как могло показаться с первого взгляда, и совершенно бескровный, совершился. И правительство мобилизовало милицию. Были распущены оппозиционные группы и организации, причем этот роспуск был произведен в рекордно короткий срок — за три дня. Обычные места политических собраний были поспешно закрыты. Затем началась вакханалия обысков. Обыски производились на частных квартирах и в учреждениях. Производились также многочисленные аресты. Местным властям было дано категорическое указание — всячески подавлять деятельность антифашистов. На оппозиционные газеты то и дело налагался арест (это был последний год существования каких бы то ни было оппозиционных изданий).

До 3 января 1925 года в правительство Муссолини входило еще несколько либералов. Теперь все они подали в. отставку. «Авентинский блок» принял и выпустил антиправительственную резолюцию. Но резолюция эта оказалась совершенно бездейственной. Она повисла в воздухе.

До 3 января 1925 года Муссолини был председателем совета министров Италии. Теперь он как бы перестал быть лицом, находящимся в пределах каких бы то ни было иерархических рамок, — это был уже почти сверхъестественный персонаж — Дуче, Шеф, Начальник, Глава. Теперь это был диктатор, лицо, облеченное всей полнотой исполнительной власти.

Всякая оппозиция в Палате депутатов подавлялась решительно и безжалостно. Вскоре Муссолини предъявил ультиматум депутатам-авентинцам. Они явились в палату на церемонию поминовения только что скончавшейся Маргариты Савойской, вдовствующей королевы. На следующий день Муссолини созвал палату и продиктовал авентинцам условия, на которых он готов примириться с их возвращением в парламент, — он потребовал от них признания так называемой «фашистской революции», он пытался заставить их отмежеваться от Авентинской кампании. И заодно отречься от связей с антифашистами за пределами палаты. Эти условия были приняты только тремя депутатами.

Дуче все еще не мог считать свое положение окончательно укрепившимся. Ему нужен был предлог для дальнейшего еще более откровенного порабощения итальянского народа. Где было взять этот предлог? В делах подобного рода дуче проявлял немалую изворотливость. И вот в течение последующего года на него было совершено ровным счетом четыре покушения, некоторые из них были явно подстроены.

Первым в Муссолини якобы намеревался стрелять Тито Дзанибони, бывший депутат-социалист. Это произошло 4 ноября 1925 года в Риме за несколько секунд до начала одного из выступлений Муссолини. Бывшего депутата арестовали в номере гостиницы Драгони, расположенной как раз напротив палаццо Киджи, здания министерства иностранных дел. Вот с балкона палаццо Киджи и должен был держать речь дуче. В руках у Дзанибони была винтовка с телескопическим прицелом. Бывший депутат был схвачен полицией за несколько минут до покушения. Вообще-то покушение это было инспирировано неким Квалья, полицейским провокатором, сумевшим втереться в доверие к Дзанибони. И Дзанибони приговорили к тридцати годам тюрьмы. Он вышел на свободу через 17 лет — уже после падения Муссолини.

Засим 7 апреля 1926 года на жизнь дуче покушалась некая Вайолет Гибсон, англичанка (или ирландка), шестидесяти двух лет от роду. Позднее ее признали психически неуравновешенной. Дуче сходил по лестнице дворца, когда раздался выстрел. Пуля слегка оцарапала ему кончик носа. И вскоре он вновь появился перед толпой — с громадной нашлепкой из липкого пластыря на носу. И несколько дней спустя дуче написал: «Пистолетные выстрелы смолкают, Муссолини остается».

А 11 сентября 1926 года последовало новое покушение. Лючетти, анархист, прибывший из Парижа, бросил бомбу в машину Муссолини. Бомба отскочила назад и взорвалась, после того как автомобиль проехал. Пострадавших не оказалось. Лючетти был сослан на каторгу.

Личная честность его вне сомнений — он хотел освободить Италию от Муссолини. Но в Париже его окружали люди, причастные к фашистской агентуре, и он явился слепым и безвольным орудием в их руках. Среди этих людей был Ричотти Гарибальди, выдававший себя за антифашиста. Французы вскоре арестовали его как платного агента Муссолини.

Последнее — четвертое по счету — покушение произошло в Болонье 31 октября 1926 года. И носило оно самый таинственный характер.

Открытая машина тихо катится по улицам Болоньи. Дождь

цветов низвергается из распахнутых окон домов. Толпа затопила тротуары. «Эйя, эйя, алала!» — вопит она. И тут раздается выстрел. Дуче втиснулся в сиденье. Машина останавливается. «Он в меня не попал!» — кричит диктатор. Машина едет дальше. Дуче спокойно улыбается. А несчастного злоумышленника толпа фашистов буквально разрывает в клочья!

Кто же покушался на священную особу самого Бенито Муссолини? Пятнадцатилетний подросток — Антео Дзамбони. На трупе его обнаружено четырнадцать ножевых ран, одна пулевая, а затем были обнаружены и следы удушения.

Но несчастный мальчуган не стрелял, да и не собирался стрелять. Приметы его не совпали с приметами покушавшегося, как их описал сам Муссолини (ибо полиция допрашивала и его). Дзамбони и одет был иначе, да и попросту стоял не с той стороны машины, с какой, по словам дуче, стоял неведомый злоумышленник. Есть предположение (и, видимо, имеющее под собой самые веские основания), что фашисты сами инсценировали покушение. Был создан предлог для вступления в силу целой серии чрезвычайных законов. И законы эти посыпались как из рога изобилия.

Вот в каком порядке появлялись эти «чрезвычайные законы» — итальянское «леджи фашистиссиме» лучше передает эмоциональную окраску этих драконовских постановлений:

31 декабря 1925 года — уничтожение свободы печати.

31 января 1926 года — предоставление правительству права устанавливать юридические нормы.

6 ноября 1926 года — издание закона о полиции и о создании ОВРА — фашистской охранки.

12 ноября 1926 года — восстановление смертной казни.

15 ноября 1926 года — создание Особого трибунала по охране безопасности государства.

Законы эти были предложены правительством и скоропалительно, без всяких дебатов, утверждены парламентом.

На основании этих законов все антиправительственные газеты и партии были запрещены. Был установлен институт принудительного выселения для политически неблагонадежных — ссылка без судебного разбирательства. Был введен политический суд, как две капли воды напоминающий военно-полевой, и, естественно, постановления его обжалованию не подлежали. Этот суд был назван Особым трибуналом — Трибунале спечиале — основным его назначением было вселять страх в и без того уже робкие души. И эта цель была достигнута. Дуче добился покорности — кажущейся, призрачной, конечно, но внешне Италия производила впечатление притихшей.

Наказание за антифашистскую деятельность исчислялось десятками лет тюремного заключения (в тех радужных случаях, когда почему-либо не выносился смертный приговор). Нередко антифашистов приговаривали к пожизненному заключению. Такова была диктатура Муссолини — грубая, жестокая и ничем не прикрытая. И держался дуче на страхе, который он сумел вселить в души многих своих былых противников и еще большего числа безразличных и аполитичных обывателей. Держался он и на социальной демагогии. И на том, что он сумел обольстить какую-то часть итальянской молодежи; представить себя в ее глазах героем и спасителем отечества. И на оболванивании детей, школьников, на поспешном изготовлении из них малолетних фашистов.

Но все это время подспудная, подпольная, глухая борьба в Италии не прекращалась. Подавленные и разогнанные политические партии в конце концов начали собираться с силами. И величайшую роль в спасении Италии довелось сыграть партии рабочего класса — коммунистической партии.

Поздняя осень двадцать шестого года

Мы мало знаем о последних днях пребывания Антонио Грамши на свободе.

Этот пробел в какой-то мере заполняет глава из книги Джованни Джерманетто «Феникоттеро». Книжка эта вышла в свет впервые в русском переводе с авторской рукописи. Буквальное значение «феникоттеро» — краснокрыл, фламинго, — это кличка партийных курьеров.

Двадцать шестой год. Феникоттеро Джиджи приезжает в Рим из Милана. Он идет по городу. Он слышит речь Муссолини, только что возвратившегося из Болоньи, где на него было произведено покушение. Вернее, Джиджи не слышит, что именно говорит дуче, но хорошо видит его жесты и полицейские восторги окружающих. Милиция, карабинеры, полицейские усердно аплодируют. Завтра, думает Джиджи, вся печать будет передавать речь дуче, «сопровождающуюся многотысячными горячими овациями». Феникоттеро выбирается из толпы. Он уходит с площади. Направляется к Ватикану. По улицам дефилируют государственные служащие со своими семействами. По случаю счастливого избавления дуче от гибели их распустили. На улицах развеваются флаги. Проезжают грузовики. На них — горланящие фашисты. Настроение у них торжественное. Чиновники тоже настроены торжественно, почти как в папский юбилей. Праздничное настроение, однако, не распространяется на рабочие кварталы города. Фабрики продолжают работать. Не покладая рук работают и римские полицейские комиссариаты. Вовсю хлопочет и «Царица небесная» — римская центральная тюрьма. Джиджи входит в подъезд одного из домов, расположенного вблизи дворца правосудия. Это одна из нелегальных квартир. Там как раз находятся трое товарищей — двое парней и девушка-машинистка.

«Джиджи! — воскликнули все трое в один голос. — Что нового?» Товарищи обступили его. «Не знаю, как и добрался до вас. Железные дороги, вокзалы, улицы — все полно вооруженными фашистами». — «А как в Милане?» — «Редакции наши все разгромлены. Сан-Витторе набита товарищами. Нуччо, только что приехавший из Лугано, явился ко мне с разбитой головой и еще счастливо отделался. Вчера вечером Соборная площадь казалась кладбищем: ни души. И тишина!.. Фашисты взбешены. Дан приказ «бить», и они бьют, бьют без разбора, так что в припадке усердия разбита не одна фашистская голова». —

«Скорее иди к Грамши: он слышать ничего не хочет, когда просишь его спрятаться. С нами ругается, если мы не предпринимаем самых мелочных предосторожностей, а сам…» — озабоченно сказал один из товарищей. «Может быть, он и прав», — задумчиво возразил другой. Джиджи уходит в соседнюю комнату. И выходит из нее неузнаваемым. Он облачен в богатую ливрею с гербами знатного патрицианского семейства, — теперь он как бы перестал быть личностью, стал просто слугой. Еще немного поболтав с товарищами и сдав им материал, привезенный из Милана, Джиджи уходит. И товарищи думают: вернется ли он?

И вот феникоттеро Джиджи в ливрее и цилиндре, с корзиной для покупок на руке, идет по улицам части Рима, расположенной на правом берегу Тибра. Он входит в магазин: посетителей там нет. «Проходи сюда, — приглашает его хозяин к себе. — Есть новости?» — «В Милане все перевернуто вверх дном. Аресты, насилия, поджоги. Надо немедленно увидеть Антонио». — «Хочешь сам пойти к нему? Знаешь, его дом под надзором». — «Мне необходимо его видеть. Я переоденусь». И вот из колбасной выходит рабочий-газовщик, с ящиком инструментов под мышкой и в кепи с надписью «Газ». Он должен видеть Грамши. Антонио живет в районе центрального вокзала. Там немало скромных маленьких вилл. Вот в одной из них Грамши и занимает довольно неуютную комнату. Она набита книгами, и в ней вечно стоит табачный дым. Феникоттеро Джиджи не раз бывал уже у Антонио Грамши. Но вокруг дома — целая армия шпиков и полицейских. А район тихий, квартал тихий, прохожих мало, словно это и не Рим вовсе, а глухая провинция. С ходу к подъезду не подойдешь. И феникоттеро решается на хитрость. Он изображает этакого увальня, будто совсем недавно из деревни. Идет неуверенно, рассматривает номера домов. То и дело смотрит в адрес — грязноватую, засаленную бумажку. Чуть не натыкается на полицейского. Почтительно снимает кепи. «Извините, синьор! Еще далеко этот номер?» Полицейский берет бумажку, прочитывает и, указав на дом, где живет Грамши, говорит: «Вон там». Газовщик, как видно, не внушает ему подозрений. Джиджи благодарит и уходит. Он поднимается наверх и стучит в дверь квартиры синьоры Пассарж. Хозяйка, ни о чем не спрашивая, впускает его. Грамши жмет ему руку. Феникоттеро передает ему толстый пакет — письмо от миланцев. Но Грамши жаждет устного отчета — он подробно расспрашивает о Милане, о настроениях товарищей. И Джиджи отвечает ему на все вопросы. Потом говорит. «Слушай, товарищ Грамши, тебе необходимо уехать. Не знаю даже, как тебя отсюда увезти. Па улице полдюжины

полицейских, и один даже с мотоциклеткой. Ты читал сегодняшние газеты?» Грамши шагает из угла в угол, снимает пенсне, протирает стекла, снова надевает и замечает спокойно: «Читал, дорогой мой Фени, — так сократил он прозвище «феникоттеро», — я хорошо осведомлен, у меня имеются и другие информации. Положение действительно серьезное. Муссолини на этот раз весьма решительно действует. Кое-кто из так называемых левых партий еще может питать, иллюзии, но не я. Мы их не питаем, — повторяет он, зажигая папиросу. — Главный удар, конечно, обрушится на нас, но мы лучше других и выдержим его. Ибо мы знаем, что это только начало». — «У нас нет времени, — перебивает его феникоттеро, — тебе надо уходить отсюда. При других обстоятельствах я бы не прерывал тебя, но в настоящую минуту ты должен уехать». — «Кто это тебе сказал, что я должен уехать?» — допытывается у него Грамши. «Партия говорит, и ***я*** говорю тебе». Грамши подходит к письменному столу. «Видишь эти записочки? Это тезисы моей речи в Палате депутатов. Я еще не закончил их. Удастся ли мне произнести эту мою речь об «исключительных законах» — я не знаю. Возможно, что и нет, но приготовить ее я должен. Полагаю, что Муссолини велит арестовать, нас до заседания палаты, чтобы получить единогласный вотум. Авентинцы, конечно, не явятся в палату, они все стали «бордигианцами», — с усмешкой говорит Грамши, — но мы должны там быть: пролетариат ждет слова партии о «чрезвычайных законах». — «Тебя арестуют… Вас всех арестуют еще раньше». — «Следует ожидать. Но хотя мы не верим в возможность удержать реакцию парламентским выступлением, мы все же должны использовать, все средства, чтобы говорить с пролетариатом. Теперь оставь меня работать. Иди и будь осторожен». — «Это ты говоришь мне об осторожности!» — протестует феникоттеро. Но Грамши, смеясь, выпроваживает его за дверь и озабоченно следит из окна за фигурой удаляющегося рабочего с ящиком под мышкой. «Бедные парни…» — тихо произносит он и берется за перо.

Так пишет Джованни Джерманетто. И хотя отдельные детали повествования носят характер беллетризации и, быть может даже художественного вымысла, все же в целом нет основания сомневаться в правдивости его рассказа. С повествованием Джерманетто совпадает и рассказ Аморетти, в эти дни, осенью 1926 года, специально приезжавшего в Рим: «В ноябре 1926 года Грамши был в опасности. Партия» была принуждена уйти в глубокое подполье. Депутатам-коммунистам, а также всем наиболее известным работникам местных организаций партии грозил арест. В секретариате Центрального Комитета партии

думали о Грамши. И вот однажды мы берем машину и делаем попытку спасти его. Грамши нужно буквально вырвать из лап у полиции, которая уже готова поймать его в свои сети. И многие другие иными путями также пытаются спасти Грамши. Но это не удается. Кажется, что сам Грамши не хочет способствовать успеху этих мер».

Почему же Антонио Грамши сопротивлялся всем попыткам спасти его, увезти, вырвать из лап полиции?

Монтаньяна об этом говорит: «Поскольку случилось так, что самый тяжелый для партии момент застал его еще в Италии, он хотел до конца оставаться на своем боевом посту. Он считал, что в этот момент его место было в парламенте, представлявшем собой единственную трибуну, с которой еще можно было в какой-то мере обращаться к народу. Но он даже не смог дойти до этой трибуны».

Примерно о том же, что Джерманетто и Аморетти, свидетельствуют и другие коммунисты — Джованни Грилли, Эстер Дзамбони, жена Орфео Дзамбони, администратора «Униты», и другие. Этими людьми были подготовлены явки, подготовлено все для того, чтобы нелегально перевести Грамши через швейцарскую границу. Однако Грамши, хотя и не отвергал хлопот, не принимал никаких мер предосторожности (его умоляли хотя бы несколько вечеров подряд не возвращаться на квартиру по улице Морганьи). Джованни Грилли впоследствии писал даже: «Думаю, что он даже хотел быть арестованным, чтобы послужить таким образом делу пролетариата». Это, конечно, маловероятно. Но были, возможно, какие-то человеческие и психологические причины, помешавшие Грамши своевременно покинуть Италию. Конечно, первостепенное значение имело решение до конца оставаться на своем посту, стремление использовать парламентскую трибуну до последнего. Но нельзя сбрасывать со счетов и того обстоятельства, что физические силы Антонио Грамши были основательно подорваны годами тяжелой борьбы. Он, безусловно, не мог обманываться насчет грядущей своей участи. Имя его стояло в списке коммунистов, которых предполагалось арестовать еще в феврале 1923 года.

Но в феврале 1923 года Грамши находился в Москве. А в двадцать четвертом году, как мы уже знаем, он был избран депутатом палаты и тем самым обрел парламентскую неприкосновенность. И действительно, когда он вернулся в Италию, он увидел, что никто не ограничивает его свободу передвижения. Он мог ездить куда ему угодно и действительно ездил в Милан и на Сардинию, в Швейцарию (на свидание с женой и сыном) и во Францию, в Лион. Но, конечно, он знал, что

так долго продолжаться не может! Было немало симптомов надвигающейся грозы, а в конце октября 1925 года римская квестура назначила обыск в присутствии Грамши на верхнем этаже дома № 25 по улице Джан Баттиста Морганьи. Были изъяты кое-какие брошюры и письма. И все-таки Грамши ежевечерне возвращался в свою комнату на улице Джан Баттиста Морганьи.

Он знал, что его ждет. И все же не торопился покинуть Рим. Более того, есть сведения, что он попросту избегал встреч с людьми, приехавшими ради него из Милана, ибо он знал, что за ним идет слежка, а он не хотел навести агентов полиции на след других членов внутренней руководящей группы партии коммунистов и поэтому сбивал агентов со следа.

Как же развивались события в дальнейшем?

Группа депутатов-коммунистов собралась в одном из залов парламента, в одном из залов дворца Монтечитторио. Как нам уже известно, исключительные законы — «леджи фашистиссиме» — предусматривали все, вплоть до восстановления смертной казни. Следовало обсудить, каким способом выразить свою оппозицию. И как выступить против предложения депутата-фашиста Фариначчи. Этот главарь чернорубашечников предлагал лишить парламентских мандатов всех тех, которые систематически не принимали участия в деятельности палаты, то есть депутатов авентинской группы. К предложению этому был приложен поименный список. Коммунисты в этот список включены не были, ведь они вернулись в парламент, и, таким образом, формальных оснований для внесения их в этот список не было. Впрочем, все это относилось только, так сказать, к официальной стороне дела. Что же касается до неофициальной, то в кулуарах дворца Монтечитторио циркулировали упорные слухи, что парламентских мандатов будут лишены также и коммунисты. Депутаты-чернорубашечники не слишком скрывали свои намерения относительно депутатов-коммунистов, более того, они даже давали им понять, что их ждет. Например, когда депутат-коммунист Рибольди должен был срочно выехать в Милан, фашист Акилле Стараче намекнул ему, что не стоит возвращаться в Рим, ибо здесь, в Риме, его ждет худшее… Решение, собственно, уже было принято. Все эти обстоятельства даже и без намеков, делавшихся приверженцами Муссолини (трудно сказать, чего они этим добивались: быть может, они лелеяли мечту о том, что коммунисты сами уйдут из парламента, покинут свои посты и тем самым дадут обильный материал для фашистской пропагандистской машины!), — итак, все это, конечно же, не могло оставаться тайной для коммунистической группы Палаты депутатов. Коммунисты не могли не знать, что их

намереваются лишить мандатов, а стало быть, и депутатской неприкосновенности. А за лишением парламентской неприкосновенности с неотвратимой последовательностью должен был произойти арест. Едва ли это могло быть тайной. Едва ли кто-нибудь в сложившихся условиях верил в незыблемость хваленого парламентского иммунитета. Но, так или иначе, все старались держаться так, как будто никакая опасность им не грозит. Рибольди, естественно, сообщил другим депутатам-коммунистам о разговоре со Стараче. Но депутаты сделали вид, что не принимают его всерьез. Даже Грамши. Он улыбался, хотя не мог быть убежден в том, что Акилле Стараче пытался только испугать своих политических противников.

А 8 ноября 1926 года, в половине одиннадцатого вечера, Грамши был арестован на квартире, которую он снимал, большой группой полицейских в штатском. Одновременно с ним были арестованы депутаты-коммунисты Рибольди, Альфани, Борини, Феррари, Маринелли, Пичелли.

Грамши был препровожден в римскую тюрьму «Реджина Чели», а затем, 20 ноября, по первому предварительному приговору, осуждавшему его на пять лет ссылки, был отправлен на остров Устику. 8 ноября 1926 года — это некий временной рубеж, разделивший жизнь Антонио Грамши.

За плечами его остались годы учения, годы труда, годы борьбы. Перед ним лежали годы лишения свободы, годы ссылки, тюрьмы.

Остров изгнания

Грамши прибыл на остров Устику 7 декабря 1926 года.

Путешествие, как он выразился в одном из писем, совершалось в особых условиях. Тут же он расшифровывает, что это, собственно, были за условия: долгие часы в поезде и на пароходе с кандалами на руках; причем руки были не просто скованы — запястья были, кроме того, прикованы к общей цепи, соединявшей всех заключенных. И все-таки: «Путешествие было чрезвычайно интересным и изобиловало самыми различными эпизодами, от шекспировских до фарсовых». Ночью на пересыльном пункте в Неаполе Грамши оказался в огромной камере, там было множество, как он пишет, воистину зоологических фантасмагорических экземпляров — разве что сцена с могильщиками из «Гамлета» могла бы сравниться с этой ночной сценкой.

Но и помимо всех неизбежных тягот, выпадающих на долю транспортируемого арестанта, переезд и сам по себе оказался чрезвычайно сложным. Пароходик несколько раз выходил из Палермо и никак не мог добраться до Устики; четырежды пытались добраться туда и трижды возвращались обратно в Палермо: шторм был слишком силен, и суденышко не могло справиться с ним.

Устика — это крохотный островок — восемь квадратных километров. Но на этих восьми квадратных километрах обреталось примерно 1300 жителей, половину из них составляли ссыльные — преступники-рецидивисты.

К счастью, политические были совершенно изолированы от уголовных. Жители острова были очень вежливы с политическими, должно быть, приятно контрастирующими в их глазах с закоренелыми бандитами. Грамши всйомнились рассказы Киплинга о каторжниках — литературные образы неожиданно облеклись плотью. Политических было всего пятнадцать человек. Власти острова не очень угнетали их — им не возбранялось, например, совершать длительные прогулки. Бедная Устика после «Царицы небесной» показалась Грамши чуть ли не раем земным. Какие здесь радующие глаз пейзажи, какие великолепные восходы и закаты! Морской воздух и синева, абсолютно невероятная, невообразимая морская синь! Он пил этот воздух, но усталость все не проходила, его по-прежнему мучили головные боли, все его существо было еще взбудоражено, и он сам просил у своих адресатов извинения за несколько бессвязный характер писем.

Да и не обо всем, что он чувствовал, он мог писать. Быть может, все им написанное дошло бы на волю и без всяческих помех, но достаточно было знать, что письма неукоснительно просматриваются, чтобы ощутить некую внутреннюю скованность, и вот рука не шла, ему не писалось, письма оказывались неожиданно сдержанными. Потом они помягчели, тон их стал даже, пожалуй, слишком бодрым, в них проглядывало желание подбодрить оставшихся на воле близких, доказать им, что не все так страшно, как им, быть может, кажется… Нет, нет, с ним все обстоит хорошо!

«Уверяю тебя, — пишет он в одном из писем, — что, если не считать, нескольких часов мрачного настроения однажды вечером, когда в нашей камере выключили свет, я все время был в весьма веселом расположении духа; чувство юмора, всегда побуждающее меня улавливать комическую и карикатурную сторону вещей, не покидало меня и помогало мне сохранить хорошее настроение, несмотря ни на что… Я выработал здесь следующую программу: 1) не болеть и улучшить состояние здоровья; 2) методично и систематически изучать немецкий и русский языки; 3) изучать экономику и историю. Мы будем также заниматься гимнастикой и т. д.».[36]

Да, он пишет несколько путано. Нынче пароходик, должно быть, не придет. Вею ночь выл ветер и не давал спать. Постель была необычно мягкой — не по-тюремному. Но ветер — ветер врывался во все щели — щели балкона, окон, дверей, он свистел и завывал; и завывания эти и свист были, конечно, не лишены известного своеобразия, но, к сожалению, отчаянно действовали на нервы!

Он все пытался забыть римскую тюрьму, камеру, где всю ночь горело электричество: пытался забыть эту проклятую камеру, и это скверно удавалось ему.

Путь на Устику шел через Неаполь и Палермо. В палермской тюрьме он пробыл очень недолго, но достаточно, чтобы ознакомиться с кое-какими подробностями нравов уголовников.

Некий арестант посвятил Грамши в некоторые детали быта ссыльных. Все они делятся на несколько групп или подразделений, северяне держатся особняком от южан, а южане, в свою очередь, подразделяются на неаполитанцев, апулийцев и сицилийцев.

Сицилийцы — народ гордый и надменный, особенно гордятся они тем, что никогда не крадут, предпочитая проливать кровь. Рассказчик, поведавший Грамши все эти подробности, на воле был подмастерьем: хозяин скверно обращался с ним, и парень (с заранее обдуманным намерением) нанес ему рану глубиной в 10

сантиметров (он уверял, что измерил ее глубину!). Так было задумано: 10 сантиметров; 10 сантиметров и оказалось — ни на миллиметр больше. В самом деле, это была мастерская работа, и он чрезвычайно гордился ею!

Время на Устике тянулось медленно, наступил январь, перемен особых не было, в письмах Грамши пытался создать впечатление известного благополучия: «Жизнь здесь протекает монотонно, однообразно, без резких перемен, будь у меня лучшее настроение, следовало бы, пожалуй, описать тебе какую-нибудь сценку из нашей сельской жизни. Я мог бы, например, описать тебе «арест» одной свиньи, которую застигли незаконно пасущейся на улице поселка и которую по всем правилам отвели в тюрьму. Случай этот очень позабавил меня… Меня очень позабавило и то, каким способом «арестовали» свинью; ее взяли за задние ноги и стали толкать вперед, как тачку, а она и в это время визжала как ошалелая».

Ну, о чем еще можно было написать с Устики, не вызывая чрезмерных подозрений у бдительных стражей? Еще вот хотя бы о чем: «…на всем острове я не видел никакого иного средства передвижения, кроме осла, а ослы здесь в самом деле замечательные, крупные и совсем ручные, что свидетельствует о мягком нраве местных жителей. На моей родине ослы полудикие и подпускают к себе только своих хозяев».

А вот другое письмо, тоже январское. В нем ясно чувствуется желание представить все в как можно более выгодном свете; ссыльный старается показать, что он не пал духом, что обстановка на островке самая приемлемая и что, следовательно, у его близких нет ни малейших оснований для ненужных волнений.

«В нашем распоряжении прекрасная терраса, с которой мы любуемся днем безбрежным морем, а ночью — чудесным небом. Прозрачный воздух — без примеси городской копоти — позволяет наслаждаться всем этим великолепием с предельной полнотой. Синева моря и неба поистине изумительна, столько в ней глубины и так многообразны ее оттенки; я видел единственные в своем роде радуги».

Вот еще красноречивые подробности:

«Утром первым обычно встаю я. Сам приготовляю кофе. С этого начинается наша жизнь: идем в школу — либо в качестве преподавателей, либо в качестве учеников. В день прибытия почты отправляемся на берег моря и с нетерпением ждем пароходика: если из-за плохой погоды почта не прибывает, день испорчен, так как тень грусти ложится на все лица. В полдень — обед, который мы готовим сообща. Как раз сегодня моя очередь выполнять функции официанта и помощника повара; я еще не

знаю, должен ли я буду, прежде чем подавать на стол, чистить картофель, перебирать чечевицу или мыть салат. Мой дебют ожидается с большим любопытством. Несколько товарищей хотели заменить меня на дежурстве, но я был непоколебим в решимости выполнять свои обязанности».

Все это звучит (это и входило в намерения автора писем) чуть-чуть идиллически, но продолжение этой идиллии не входило в расчеты тогдашних правителей Италии.

Грамши пробыл на Устике очень недолго — вскоре его перевели в миланскую тюрьму, и теперь он уже числился, видимо, не ссыльным, а подследственным: готовился процесс против группы ведущих итальянских коммунистов.

Иные из его писем миланского периода хочется привести целиком или почти целиком, до того они выразительны и красноречивы.

Вот письмо из миланской тюрьмы от 19 февраля 1927 года;

«…в качестве интермедии в описании своего путешествия по этому большому и грозному миру хочу рассказать тебе нечто очень забавное, связанное лично со мной и с моей «славой». Так как меня знает лишь весьма узкий круг людей, то имя мое коверкается самым невероятным образом: Грамаши, Грануши, Грамиши, Граниши, Грамаши, вплоть до Грамаскон и других самых причудливых вариантов. В Палермо, когда мы ждали проверки багажа в отведенном нам помещении, я встретил группу рабочих из Турина, которых отправляли в ссылку. Вместе с ними находился один тип, потрясающий экземпляр анархиста-ультраиндивидуалиста, известный под кличкой «Единственный», который отказывался сообщить кому бы то ни было, в особенности же полиции и вообще властям, сведения о себе. «Я Единственный — и баста!» — таков был его ответ. В толпе ожидающих «Единственный» узнал среди уголовников (членов «мафии») знакомого парня-сицилийца («Единственный», вероятно, из Неаполя или из близлежащих мест), арестованного по причинам не то политического, не то уголовного характера. Стали представляться друг другу. Представили и меня. Тут «Единственный» внимательно вгляделся в меня и затем спросил: «Грамши, Антонио?» — «Да, Антонио», — ответил я. «Не может быть, — возразил он, — Антонио Грамши должен быть великаном, а не такого маленького роста». Больше он ничего не сказал, отошел в угол, уселся на некое приспособление, которое я не решаюсь назвать, и погрузился, как Марий на развалинах Карфагена, в размышления по поводу своих утраченных иллюзий. В дальнейшем, пока мы все еще находились в том же помещении, он упорно избегал возобновления разговора со мной и, когда мы

расставались, ушел не попрощавшись.

Другой эпизод, схожий с этим, но, по-моему, еще больше занятный и более сложный по своему характеру, произошел позднее. Мы должны были двинуться в путь; конвоировавшие нас карабинеры уже надели на нас кандалы и цепи. Меня заковали новым и пренеприятнейшим образом; косточка запястья оставалась вне обруча и больно ударялось о железо. Вошел начальник конвоя, бригадир огромного роста; при перекличке он задержался на моем имени и спросил, не родственник ли я «знаменитого депутата Грамши». Я ответил, что я и есть Грамши. Он посмотрел на меня с явным сочувствием, бормоча что-то невнятное. На всех остановках потом я слышал, как он, разговаривая с собиравшимися вокруг тюремного вагона людьми, говорил обо мне, называя меня неизменно «знаменитым депутатом». (Должен прибавить, что при его содействии мне надели кандалы более сносным образом.)

Итак, если учесть, куда ныне дует ветер, я мог еще ожидать, помимо всего прочего, что какой-нибудь экзальтированный тип набросится на меня с кулаками…

Но вот случилось так, что бригадир, который до этого ехал во втором тюремном вагоне, перешел в тот, где находился я, и завязал со мной разговор. Это был необычайно интересный и своеобразный тип, который был полон «метафизических потребностей», как сказал бы Шопенгауэр, и который умудрился удовлетворять их самым необычным и хаотическим образом. Он заявил мне, что всегда полагал, что у меня внешность «циклопическая», так что в этом отношении он очень разочарован. Читал он тогда книгу М. Мариани «Равновесие эгоизмов» и только что окончил книгу некоего Поля Жиля, в которой опровергался марксизм. Я, конечно, не стал говорить ему, что Жиль — французский анархист, не имеющий ни малейшего научного или какого-нибудь иного веса. Мне нравилось слушать, с каким пылким воодушевлением он говорил о самых путаных и разнородных вещах и понятиях; так может говорить лишь самоучка, умный, но не привыкший к дисциплине и методу. В один прекрасный момент он начал называть меня «маэстро». Можешь представить себе, как это все меня позабавило! Так я на собственном опыте узнал, что представляет собой моя «слава».

Что ты на это скажешь?»

Наконец миланская тюрьма. Тюрьма Сан-Витторе. Грамши не знал, сколько ему суждено пробыть здесь. Он коротал время как мог.

Утром выводили на двухчасовую прогулку. Ограничений в

чтении не было. В течение дня Грамши получал пять ежедневных газет: «Коррьере», «Стампа», «Пополо д'Италиа», «Джорнале д'Италиа», «Секоло».

В библиотеке у него был двойной абонемент, то есть он имел право на восемь книг в неделю. Он покупал еще кое-какие журналы и миланскую финансово-экономическую газету. Словом, все время проходило у него в чтении. Письма родных до него почти не доходили. Он полагал, что в отношении этих писем, должно быть, приняты какие-то «таинственные» меры. И настоятельно писал домашним, чтобы они в письмах своих не делали ни малейших намеков, даже самых туманных и косвенных, на меры, принятые в отношении его. Он просил их ограничиваться только семейными новостями.

Проходит еще некоторое время. Нет, он не может отказаться от работы, перестать думать, ведь без этого он просто погибнет, превратится в животное. И новые идеи одолевают его. И он признается в одном из писем, адресованном Татьяне Шухт, сестре его жены, постоянно проживавшей в Италии: «Я одержим (и это состояние, думается мне, свойственно всем заключенным) вот какой мыслью: следовало бы сделать что-нибудь «fur ewig»[37] согласно сложной гётевской концепции, которая, помню, доставила изрядные мучения нашему Пасколи[38]. Словом, я хотел бы, следуя заранее намеченному плану, заняться глубокой и последовательной разработкой какой-нибудь темы, которая увлекла бы меня и на которой сконцентрировались бы все мои духовные силы…»

Да, надо было бы описать все перипетии и впечатления, связанные с переездом с Устики в Милан, но всем ли это интересно так же, как ему? Ведь для него лично это связано с определенным душевным состоянием и даже с определенными страданиями; а для того чтобы это стало интересно другим, нужно было бы, вероятно, рассказ об увиденном и пережитом облечь в литературную форму… «А я вынужден писать наспех, ограничиваясь теми короткими минутами, когда в мое распоряжение предоставляются перо и чернила…»

11 апреля 1927 года Антонио Грамши пишет Татьяне Шухт из миланской тюрьмы: «Все же время идет очень быстро, гораздо быстрее, чем я думал. Со дня моего ареста (8 ноября) прошло уже пять месяцев и два месяца — со дня моего прибытия в Милан. Кажется невероятным, что прошло столько времени. Надо учесть, правда, что за эти пять месяцев я повидал и испытал всякое, и впечатлений было множество — самых что ни на есть удивительных и из ряда вон выходящих. С 8 по 25 ноября — в Риме, в полной и строжайшей изоляции; с 25 по 29 ноября — в

Неаполе, в компании четырех моих товарищей-депутатов (вернее, трех, а не четырех, так как один был отделен от нас в Казерте и направлен на Тремити). Посадка на пароход, идущий в Палермо, и прибытие в Палермо 30-го. Восемь дней в Палермо: три тщетные попытки (из-за штормовой погоды) добраться из Палермо до Устики. Первое знакомство с арестованными сицилийцами, которых обвиняют в принадлежности к «мафии»; новый мир, который я знал только теоретически; сравниваю и проверяю свои суждения в этой области и прихожу к заключению, что они оказались довольно верными. 7 декабря прибытие на Устику, знакомство с миром уголовников: фантастические, невероятные вещи. Знакомлюсь с колонией бедуинов из Киренаики — политических ссыльных; очень интересная картина восточной жизни. Пребывание на Устике. 20 января отъезд. Четыре дня в Палермо. Переезд в Неаполь вместе с уголовными преступниками; Неаполь — знакомлюсь с целой галереей чрезвычайно интересных для меня типов; из всего юга я ведь знал фактически одну лишь Сардинию. В Неаполе, среди прочего, присутствую при обряде посвящения в «Каморру»[39], знакомлюсь с одним каторжанином (неким Артуром), который производит на меня неизгладимое впечатление. Спустя четыре дня — отъезд из Неаполя. Остановка в Кайанелло, в казарме карабинеров; знакомлюсь с товарищами по цепи, с которыми мне надлежит ехать до Болоньи. Два дня в Изернии в обществе этих типов. Два дня в Сульмоне. Ночь в Кастелламаре Ад-риатико, в казарме карабинеров. Два дня — вместе с шестьюдесятью заключенными. Они организуют в мою честь представление: уроженцы Рима великолепно читают стихи Паскарелла[40]…».

Арестанты начинают разыгрывать сценки из быта римского преступного мира. Апулийцы, калабрийцы и сицилийцы соревнуются в фехтовании на ножах по всем правилам четырех государств преступного мира Южной Италии, ибо государств именно четыре, ни больше и ни меньше — Сицилийское, Калабрийское, Апулийское и Неаполитанское… Сицилийцы выступают против апулийцев, апулийцы — против калабрийцев. С некоторым удивлением Грамши узнает, что между сицилийцами и калабрийцами состязания не устраиваются, так как ненависть между этими двумя государствами настолько сильна, что даже состязания чреваты серьезными и кровавыми последствиями.

Первенство остается за апулийцами — это непревзойденные мастера поножовщины; они владеют всем арсеналом приемов и секретов своего убийственного ремесла, и технику этого ремесла они совершенствуют, изучая технические приемы противника и стремясь превзойти их. Один шестидесятилетний апулиец, старик

весьма почитаемый, но без особых званий, одерживает победу над всеми чемпионами других государств, затем в качестве гвоздя программы демонстрирует поединок с другим апулийцем, молодым парнем великолепного сложения и поразительной ловкости, который обладает высокими званиями и которому все подчиняются, и в течение получаса они демонстрируют зрителям все существующие способы фехтования на ножах. Это было поистине потрясающим и незабываемым зрелищем для всех: и для участников и для зрителей.

«Передо мной открывался совершенно неведомый мир, — пишет Грамши Татьяне, — сложнейший мир преступного подполья с царящими в нем нравами, чувствами, взглядами, кодексом чести, железной и страшной иерархической системой. Оружие было простое — ложки; они терли их об оштукатуренную стену, для того чтобы можно было отмечать «удары» на одежде противника. Затем два дня в Болонье, новые эпизоды. Затем Милан. Да, эти пять месяцев были довольно бурными и насыщенными таким количеством впечатлений, что их можно будет «переваривать» еще год или два.

Из этого ты можешь заключить, как я провожу время, когда не читаю: я вспоминаю все то, что видел, и тщательно, скрупулезно все анализирую. Занятие это страшно увлекает меня… и то, что мне удается подметить, приобретает особый интерес.

Я стараюсь, конечно, внимательно следить за собой, чтобы не впасть в мономанию, столь свойственную психике заключенного. Очень помогают мне в этом та склонность к иронии и то чувство юмора, которые никогда не покидают меня. Ну, а ты что делаешь и о чем думаешь?»

О чем могла думать Татьяна? Она думала об Антонио и о том, как облегчить его участь. Она думала о детях Антонио, о малышах Делио и Джулиано-Юлике. Она думала о сестре Юлии и о Москве, о далекой Москве. Она думала о том, что Антонио ждет суда, о том, что готовится процесс, тот самый большой процесс, о котором еще столько будут говорить и. писать.

Суд и приговор

Материалы «большого процесса» были обнаружены спустя два десятилетия, уже после падения Муссолини. Было найдено и интереснейшее письмо Грамши — «Уважаемому г-ну Председателю Особого трибунала по охране безопасности государства, Рим». Письмо это отправлено из миланской следственной тюрьмы 3 апреля 1928 года, во всяком случае на нем стоит эта дата. В письме много места уделено чисто юридической полемике, подчеркиваются неправомерность обвинения, нарушения юридической процедуры и так далее. Подробный разбор письма едва ли здесь уместен, Грамши должен был написать его, но едва ли он верил в то, что фашистские судьи под влиянием какой-бы то ни было аргументации изменят свое решение; ведь, кстати, **и** решение это было выработано заранее самим Муссолини, в чем ни Грамши, ни другие обвиняемые коммунисты, естественно, не имели оснований сомневаться.

Но в этом письме много внимания уделено тем попыткам воздействовать на Грамши, которые предпринимались тюремными властями, вероятнее всего, по наущению свыше. Впрочем, может быть, и попросту в порядке местного творчества. В камеру к Грамши — в Болонье и потом в Милане — подсаживали некоего Данте Романи (так он по крайней мере себя называл), уверявшего, что он-де паровозный машинист по профессии и анархо-синдикалист по убеждениям. Этот Романи брался передавать на волю политические распоряжения Грамши. Конечно же, это была самая дешевая полицейская провокация, прозрачная донельзя; и тюремные власти, убедившись в, бесплодности своих попыток, убрали Данте Романи из камеры Антонио. А в миланской тюрьме к Грамши с провокационными предложениями обращался некий Коррадо Мелани, бывший фашист. Он предлагал коммунистам приобрести имеющийся у него материал, компрометирующий фашистских главарей. Все это была чрезвычайно грубая работа, и Грамши не отказал себе в удовольствии написать об всем этом г-ну Председателю Особого трибунала,

Приближается день начала процесса. Коммунистов отправляют из Милана в Рим. Люди скованы одной цепью. Кто знает, что ждет их? Смерть? Или долгие, нескончаемо долгие годы тюрьмы? И вот они едут в арестантском вагоне, едут всю ночь напролет. Круг замкнулся. Снова Рим. Снова тюрьма «Реджина Чели». Грамши в одной камере со Скоччимарро **и** Террачини. Первый этаж шестого корпуса. В тесной камере темно.

Нижняя часть окна заколочена досками. И вот наступает время суда. Начинается процесс. Председатель суда — дивизионный генерал Акилле Мускара, судья Клаудио Пассани, консул фашистской милиции, адвокат Джакомо Буккафурри (судья-докладчик). Обвиняемым инкриминируется попытка «в 1926 году поднять вооруженное восстание, в соответствии с решениями, принятыми на съезде в Лионе». Есть еще и такая формулировка: «Военный заговор с целью насильственного свержения правительства».

Грамши в Лионе сказал: «Бессмысленно, безумно говорить в настоящий момент о попытках восстания». Итак, коммунисты обвинены голословно. Это не судебное разбирательство, а судебная расправа!

Но что еще вменяется в вину подсудимым? Брошюра о методах гражданской войны в России, о ее уроках (перевод с русского). Брошюра подлинная, но она была еще раньше напечатана в фашистском журнале «Политика». А журнал этот редактировал сам министр юстиции Рокко.

Процесс идет в тесном маленьком зале. Весь правый угол зала занят клеткой из железных прутьев. В ней находятся подсудимые. Даже на суде они в кандалах и скованы общей цепью. Приняты все «меры предосторожности»: в клетке вместе с подсудимыми вооруженные до зубов часовые, а снаружи — кольцо вооруженных карабинеров. На стене над местами судей — большой портрет его величества Виктора-Эммануила III. Над портретом — распятие. На скамье свидетелей — агенты охранки. Пропускают в зал публику только по специальным билетам, то есть публики-то, собственно, нет — присутствуют по преимуществу более или менее замаскированные полицейские агенты и фашистские активисты. А на местах защиты — никого.

Первым из обвиняемых говорил Исидоро Аццарио. Разум его помутился в тюрьме. После совещания судей с прокурором больного вывели. Затем был зачитан обвинительный акт, и начался допрос. Одним из первых говорил Скоччимарро. Председатель суда все время перебивал его. «Это не относится к делу, — говорил он. — Мы вас обвиняем не в этом».

— Но в чем же тогда вы обвиняете нас? — спрашивает Скоччимарро. И продолжает: — Дело в том, господин председатель, что этот процесс затеян против людей, не совершивших никакого преступления; в действительности нас судят за то, что мы — коммунисты, что мы боролись против фашизма, в защиту народа и свободы…

И председатель вновь перебивает обвиняемого:

— Подсудимый Скоччимарро, говорите по существу!

Скоччимарро: Почему вы не призывали говорить по существу свидетелей обвинения, когда они рассказывали свои смехотворные и явно лживые выдумки? Ваш меч, господин председатель, — это не меч правосудия, это меч гражданской войны…

Председатель: Карабинеры, выведите его из зала!

Коммунисты держались на суде стойко и непоколебимо. Все, за исключением одного человека — Альфани. Альфани сделал признание, Альфани покаялся, теперь его должны освободить. Он еще в клетке, но жмется в сторонку, другие отодвигаются от него, чтобы не замараться. Для них он не человек — он прах, тлен, падаль!

После речи обвинителя попросил слова обвиняемый Террачини. Слово было ему дано.

«Прежде чем суд удалится для вынесения приговора, — сказал он, — я от имени моих товарищей по заключению прошу разрешить мне сделать следующее заявление:

Первое: Мы, за исключением Альфани, еще раз объявляем суду, что имеем честь быть коммунистами и, несмотря на двухлетнее заключение в тюрьме, остаемся членами компартии. Это заявление значит, что, когда бы мы ни получили свободу, мы будем считать своей обязанностью отдать свою деятельность партии.

Второе: Мы считаем, господа судьи, что наше дело не может быть подсудно Особому трибуналу, так как все мы были арестованы до установления чрезвычайных законов, которые согласно ясному толкованию законоведов не имеют обратной силы. Поэтому дело наше не должно было быть передано трибуналу и нас должны были освободить после следствия. Тем не менее мы совершенно убеждены, что все, чего требует прокурор, будет вами принято.

Третье: Обвинение нас в подстрекательстве к гражданской войне и в заговоре против целости государства базируется на нескольких брошюрах, секвестрованных при аресте и имеющихся в распоряжении суда, которые, однако, были напечатаны с разрешения «Общественной охраны» и префектуры. Что же касается брошюры «Гражданская война», о которой так много говорил здесь прокурор, то она целиком перепечатана из журнала «Политика», редактором которого является министр — хранитель печати. Некоторые из этих брошюр никогда не были нами изданы.

Но, установив этот факт в целях ясности, мы заявляем в то же время суду, что мы полностью солидаризуемся со всеми подпольными изданиями, в которых отражены методы и доктрина Итальянской коммунистической партии. Кроме того, мы считаем

правом рабочего класса прибегать к подпольной печати, когда, как в настоящее время, он лишен возможности законными путями публиковать свои издания и агитировать за них.

Четвертое: Мы хорошо знаем, что для тех из нас, которые больны или обладают слабым здоровьем, подорванным к тому же предварительным заключением, ваш приговор равносилен смертному приговору. И это нас ни в какой мере не удивляет, так как мы прекрасно понимаем, что вы в нашем лице хотите нанести удар вождям Итальянской коммунистической партии.

Пятое: Мы должны также указать на то, что господа, входящие в состав трибунала, доказали за время процесса полную свою неспособность судить нас… или кого-либо из коммунистов по причине полной своей неосведомленности в вопросе. Достаточно указать хотя бы на тот факт, что в качестве вещественного доказательства нашей виновности обвинение выдвигает, как это ни невероятно, брошюры, содержащие только текст «Коммунистического манифеста», который теперь считается культурным багажом всякого образованного человека и который можно найти в любой библиотеке.

Шестое: Подтверждением вышесказанного является и то, что прокуратура возлагает на нас ответственность за все террористические акты, имевшие место в Италии за последние годы, тогда как достаточно самого поверхностного знакомства с нашим движением, чтобы понять отношение коммунистической партии к террористическим актам.

Седьмое: Итак, если бы нас судили согласно истинным данным, вы, господа судьи, должны были бы признать нас неподсудными, потому что наша деятельность имела место в период, когда таковая не считалась преступлением. Но этот суд — суд карательный, который призван нанести в нашем лице удар партии рабочего класса, борющегося с настоящим режимом. Поэтому мы уверены, что вы, господа судьи, приговорите нас к высшей мере кары, какой требует от вас общественный обвинитель. Но помните, господа судьи, что коммунизм…»

Председатель лишил Терначини слова и спросил подсудимых: имеют ли они что-нибудь добавить к сказанному ими прежде? И когда очередь дошла до Грамши, он тихо сказал: «Вы приведете Италию к катастрофе. Мы, коммунисты, ее спасем!» Суд удаляется для вынесения приговора.

И вот 4 июля 1928 года. Особый трибунал по охране безопасности государства приговорил Антонио Грамши к 20 годам 4 месяцам и 5 дням тюремного заключения. Учитывая состояние здоровья Грамши, это был, по существу, слегка завуалированный смертный приговор.

Больший срок получил только Умберто Терначини — около двадцати двух лет. Он пробыл полтора десятилетия в заключении и, выйдя из тюрьмы после падения фашистского режима, был избран председателем Учредительного собрания Итальянской республики. И как таковой подписал конституцию этой республики. Сохранилась фотография, на которой тогдашний президент республики де Никола, сидя за роскошным письменным столом, на минутку сняв очки, смотрит, как у края того же стола Умберто Терначини стоя подписывает конституцию. Де Никола — представительный старик, с виду весьма осторожный и неоткровенный. Взгляд у него крайне желчный. Были времена, когда буржуазный либерал де Никола баллотировался по одному списку с фашистом Муссолини. Но времена эти прошли и канули в вечность. Теперь де Никола вынужден сотрудничать с крайне левыми, и по виду его чувствуется, что эта политическая метаморфоза ему не совсем по душе…

Грамши должны были отправить в Портолонгоне — в самую страшную тюрьму Италии. В последний момент, когда Антонио был уже выведен из камеры, чтобы вместе с другими направиться к выходу из тюрьмы и оттуда общим порядком в тюремный вагон, раздался возглас: «Антонио Грамши, к врачу!» С Грамши сняли наручники. Он обнял отъезжающих. Распрощался с ними. Его путь пролег отдельно — он был отправлен в тюрьму-госпиталь в Тури. Это считалось особой милостью. Скоччимарро рассказывал, что Антонио Грамши сказал ему накануне прощанья: «Мауро, я чувствую, что они меня не выпустят живым». И, к сожалению, предчувствие не обмануло его.

Живучий шиповник

Тюрьма-госпиталь в Тури. Новый этап тюремных скитаний. За спиной — тревоги, радости и разочарования римской поры. За спиной — остров Устика и миланская тюрьма. Позади суд и приговор. Грамши изолирован от людей. Он не может непосредственно общаться с ними. Он может им только писать и потом, иногда подолгу ожидать ответа.

Что же еще остается ему?

Обращение в прошлое. Мысленное обращение в прошлое.

В нем он черпает теперь силу и безграничную веру в будущее. И этой веры у него не отнять.

Люди из прошлого как бы приходят к нему и обступают его жесткое тюремное ложе. Он видит близких своих. И глаза его матери, глаза Джузеппины Марчиас, смотрят ему прямо в душу. Как написать ей о себе? Какими словами? Ведь она знает только одно — сын ее попал в тюрьму. А ведь он не вор, не мошенник и не убийца. Он ученый, он депутат парламента. Единственный ученый из ее сыновей. А у нее их четверо — Дженнаро, Антонио, Марио, Карло. Антонио, хворого и физически слабого, не взяли на войну. А трое других воевали, и она дрожала за них, боялась, что их убьют. «Моих сыновей убьют на бойне», — вот как говорила она. Но господь смилостивился над ними, господь внял ее моленьям: все трое выжили, уцелели и вернулись домой. И помаленьку выбились в люди. И самая страшная судьба постигла не их, а бедного Антонио, Нино, самого слабого телом и самого сильного духом.

Так, наверное, думает сейчас Беппина Марчиас, его мать. Ну как тут быть, как и чем ее утешить? Надобно написать ей, как-нибудь внушить ей, что все еще не так худо.

Написать ей, ну да. Но это писание писем превратилось в настоящую физическую пытку. Ему почему-то вечно подсовывают ужасные перья, они не пишут, только царапают бумагу.

Итак, остаются письма. Письма — и еще воспоминания. И смотреть, смотреть, вспоминать все, что видел когда-то, и анализировать то, что видишь теперь, что происходит вокруг тебя. И остается еще чтение. Но иногда и копеечные иллюстрированные журнальчики причиняют нежданную боль. Вот он прочел о смерти Серафино Ренци. Это был совершенно удивительный актер. Комик. Настоящий лицедей. Поразительно народный и общепонятный, без капельки снобизма. Помнится, играл он в Турине, в городском саду, на открытой сцене. Играл в каких-то необыкновенных пьесах. Это было что-то вроде романов-

приложений, только в лицах, в диалогах. Публика бурно реагировала. Непритязательная публика явно не отделяла игры от действительности, вернее не хотела отделять. Она жаждала хотя бы один-единственный вечер провести в мире волшебных приключений. И Серафино Ренци, милого растяпу Серафино, публика воспринимала как самого что ни на есть доподлинного бродягу или, скажем (бывали и такие пьесы), сыщика-оригинала.

Но вот расплывается и облик Серафино Ренци. Память не всесильна. Человек обращается в свой внутренний мир. Он внимательно вглядывается в него. И тогда из-под его пера, из-под проклятого царапающего бумагу пера выходят четкие буквы, округлые и почти без наклона:

«Душевно я совершенно спокоен. В самом деле, я не испытываю больше той повышенной возбудимости и тех приступов глухой ярости, какие я испытывал в первое время. Я акклиматизировался, и время бежит довольно быстро: счет его я веду по неделям, а не по дням, и понедельник является для меня исходной точкой, так как в этот день я пишу и бреюсь, — по этим операциям мы и ориентируемся во времени».

Все это так. Постепенно наступает успокоение. Но как быть с одиночеством, как бороться с ним? Может быть, именно общение с людьми, само общение с людьми как раз и есть та душевная разрядка, которую надо больше ценить?

Он оторван от мира, он заключенный, а там, за стеной, там «христиане»; забавно, что ссыльные и заключенные делят всех людей на две совершенно определенные категории — на ссыльных и заключенных и на «христиан», то есть на всех прочих смертных. Но как рассказать, как пересказать «христианам» то, что сам чувствуешь и ощущаешь? Это почти неразрешимая задача. Ты можешь только показать им, что не сломлен, ты можешь попытаться вселить в них надежду, ты можешь заставить их улыбнуться сквозь слезы над забавным парадоксом, назвав, например Париж «полуколонией сенегальского интеллектуализма», — и все-таки ты для них теперь только память, только облик, постепенно стирающийся в памяти. А живой голос забывается легче всего. Удивительные книги попадались ему в эти годы. Еще в миланской тюрьме в его руки попала книга Марио Собреро «Пьетро и Паоло». Грамши внимательно прочел эту книгу. В ней изображались революционные события времен «занятия фабрик». Город, в котором происходили события, не назван, но пейзаж и достопримечательности его описаны настолько точно и подробно, что ни малейших сомнений не оставалось: автор имел в виду Турин. Книга написана сентиментально и не всегда умело, хотя и

чувствовалось, что писал ее журналист, туринец, и писал по горячим следам. Много в книжке от испытанных мелодраматических схем. Двоюродные братья: один — коммунист, другой — фашист. Старый социалист — отец одного из них. Его тревога и метания. Все расписано чуть ли не по часам. Описана даже редакция «Ордине Нуово» (под слегка измененным названием), описан он, Антонио Грамши (под именем Раймондо Рокки), — автор-буржуа говорит о нем в не слишком лестных выражениях, именуя его «талантливым нищим», и так далее. Книжка в общем филистерская. «Но, — думает Антонио, — этак я заживо становлюсь героем итальянской словесности. Автору я не слишком-то по душе, и все же он уделил мне пропасть внимания. Что ж, и на том спасибо!» А вот другая книжонка: «Квинтино Селла в Сардинии». Детская историческая книжонка. Как странно, книгу о Квинтино Селла он некогда просил у матери; это одна из первых книг, которые он прочел, она была когда-то у них дома. И он думал, что книга эта воскресит какие-то полузабытые воспоминания. Тщетные надежды! Он так ничего путного и не вспомнил. И не умилился даже. Он думает о книжках, прочитанных в детстве, и, должно быть по некоей ассоциативной связи, ему опять вспоминается привратник в суде, в Гиларце, — старый привратник, один из ничтожных винтиков Итальянского государства, а он, простец, полагал даже когда-то, что большущий винт! Привратник на суде — блюститель и страж законности, охраняющий ее в случае необходимости даже от посягательств тиранов! Не уберег старик законности от посягательств! Не устерег!

Трудно сказать, что самое тяжкое в его нынешней жизни. Но, пожалуй, скука. Эти неизменно похожие один на другой дни, эти часы и минуты, протекающие с монотонностью медленно падающих капель, — все это в конце концов способно извести его! Он заперт в камере под неусыпным надзором. Впрочем, этого неусыпного надзора потребовал не кто иной, как сам синьор начальник тюрьмы. Это, так сказать, плод местного творчества. Ведь он, Антонио Грамши, считается опаснейшей личностью, способной поджечь страну с четырех концов или сотворить еще что-либо подобное.

Его мысли опять возвращаются к близким. Его очень тревожит моральное состояние матери. Что же ему сделать, чтобы утешить и подбодрить ее? А ведь он спокоен, он абсолютно спокоен, и ему хотелось бы вселить в ее душу уверенность в том, что это действительно так и есть, но, увы, ему это не удается. Все дело **в** том, что различие в восприятиях, чувствах и образе мыслей создает между ним и его матерью своего рода пропасть.

Для нее его заключение — страшное несчастье, таинственное и непонятное по сцеплению — причин и следствий. А для него, для Антонио Грамши, — это всего только эпизод политической борьбы, которая велась и будет вестись не только **в** Италии, но и во всем мире кто знает сколько еще времени. Он оказался в заключении точно так же, как во время войны можно оказаться в плену; он, Антонио Грамши, знал, что это могло случиться и что могло случиться также и худшее. Но, наверное, и мать и сестра Терезина, которой он об этом напишет, думают иначе, и все его объяснения покажутся им там, в богом забытой Гиларце, поразительнейшей и неразрешимейшей загадкой, изложенной к тому же на незнакомом языке.

Чем страшна тюрьма? Одиночеством? Безысходностью? Болью? И этим, конечно, тоже. Но еще страшней она тем, что убивает, пытается убить в человеке все человеческое. Ему вспоминается тюремное рождество. Это было еще в Милане. Ах, что это был за необычайный праздник! В чем же заключалось необычайное? Заключенным вместо обычного супа выдали порцию макарон и четвертушку вина. Так расщедрилась тюремная администрация. Подобные приступы щедрости бывают у нее, говорят, раза три в год. По большим праздникам. Ну не важное ли это событие! Нет, он не шутит и не смеется. Он и не думает шутить. Он мог бы посмеяться над этим до того, как узнал, что такое тюремная жизнь. Но он видел слишком много волнующих сцен, когда заключенные с какой-то религиозной истовой сосредоточенностью опорожняли свою миску супа, а потом хлебным мякишем собирали остатки жира по ее краям! А однажды в казарме карабинеров, куда заключенных поместили во время переезда, один из них заплакал, когда вместо полагавшегося супа им дали всего лишь двойную порцию хлеба. Этот несчастный находился в тюрьме уже два года, и горячий суп был для него его кровью, его жизнью. И ему, Антонио Грамши, стало теперь еще понятней, почему в «Отче наш» упоминается хлеб наш насущный.

А время идет. И люди меняются вместе с ним. И он изменился тоже. Очень изменился. Бывали дни, когда ему казалось, что он стал инертным и апатичным. Сейчас он считает, что ошибся в оценке своего состояния. И ему уже не кажется больше, что он был выбит из колеи. Это были просто вспышки сопротивления тому новому образу жизни, который под воздействием всей тюремной обстановки с ее правилами, с ее рутиной, с ее лишениями, с ее насущными нуждами начинает неотвратимо угнетать его. Жизнь в заключении — это огромный комплекс мельчайших событий и дел, которые механически

повторяются из месяца в месяц, из года в год, — все те же, все в том же ритме, с монотонностью гигантских песочных часов. И все-таки все его существо каждой клеточкой своей, каждой частицей упорно и строптиво сопротивлялось физически и духовно влиянию этой засасывающей внешней среды. Но бывали минуты, бывали мгновения, когда и ему приходилось все же признавать, что внешнее воздействие оказывалось в известной мере сильнее его сопротивления. И ему приходилось бурно реагировать — мобилизовывать все внутренние силы на отпор вторжению извне.

Пространства нет. Есть только Время. Земля описывает один оборот вокруг Солнца, и мы, люди, называем это годом — но здесь, в тюрьме, солнце — понятие сугубо относительное — этой зимой он почти три месяца не видел солнца, а если и видел, то лишь его слабый отблеск. В камеру проникал свет, напоминающий нечто среднее между светом погреба и аквариума. А ведь стоит только привыкнуть к жизни в аквариуме и приспособить свои органы чувств к восприятию приглушенных и сумеречных ее проявлений (все с тем же ироническим отношением), и сразу же вокруг тебя возникает целый мир с его особой жизнью, с его особыми законами, с его особой линией развития. Так бывает, когда бросаешь случайный взгляд на старый ствол, полуразрушенный временем и непогодами, а затем все пристальнее и внимательнее начинаешь вглядываться **в** него. Сначала различаешь какую-то плесень, медленно ползущего слизняка да тянущийся за ним мокрый след. Затем перед тобой постепенно открывается целый мир маленьких насекомых, которые копошатся и неутомимо трудятся, повторяя одни и те же усилия и совершая все тот же путь. Если смотреть на все это со стороны, если не превращаться в большого слизняка или крохотного муравья, то в конце концов все это не может не заинтересовать; и время, таким образом, идет быстрее.

Вот так он и жил в четырех стенах камеры — сперва в Милане, а потом в Апулии, в Тури. Он был весь полон прошлым, прошедшим, в котором перемешалось великое и случайное, привнесенное, наносное. Затем прошел известный промежуток времени, и все дальше стали уходить события и переживания предыдущего периода жизни: все то, что было случайным и преходящим в области чувств и воли, постепенно куда-то исчезало; оставалось главное и нетленное. И, вопрошая сам себя, он находил вполне естественным, что это именно так. В течение какого-то времени, думалось ему, нельзя избежать того, чтобы воспоминания и образы прошлого не завладевали тобой, но если постоянно смотришь только в прошлое, это начинает в конце концов мешать; да это и бесполезно. И вдруг ему показалось, что

он преодолел тот кризис, который, по-видимому, происходит со всеми в первые годы пребывания в тюрьме и который часто приводит к самому решительному, самому резкому разрыву с прошлым! Впрочем, он должен был признаться себе, что этот душевный кризис он чувствовал и наблюдал больше у других, чем у себя, и, более того, что он воспринимал его с улыбкой. Ну что ж, ведь одно это уже было преодолением кризиса! Он никогда не думал, что столько людей до такой степени боятся смерти. А именно в этом страхе и кроется причина всех явлений, происходящих в психике заключенного. В Италии говорят, что ты тогда становишься старым, когда начинаешь думать о смерти; ну что же, пожалуй, это очень верная мысль. Впрочем, все это едва ли относится непосредственно к нему, к бывшему депутату Антонио Грамши. И он берется за перо. Он должен записать это:

«Я видел, до какой степени тупели и дичали некоторые люди, и это оказывало на меня такое же действие, как на спартанских юношей созерцание развращенного образа жизни илотов».

И он добавляет с чуть заметной усмешкой:

«Итак, я сейчас совершенно спокоен…»

Была зима, и солнца не было, вернее, он почти не видел его. А потом наступила весна и пригрело солнце, а потом роза у него в камере (ему позволили устроить нечто вроде миниатюрного садика на подоконнике) начала давать ростки, а ведь ему уже казалось, что от нее остались одни унылые, голые прутики. Но сможет ли она противостоять предстоящей летней жаре? Ведь здесь, в Апулии, отчаянно жарко и сыро! Вряд ли роза уцелеет, уж очень она хрупкая и хилая. Да, но если вдуматься, ведь роза, в сущности говоря, — это всего лишь разновидность шиповника, а значит, весьма живуча. Ну что ж, поглядим, поглядим. Думал ли он при этом только о хилой тюремной розе? Не было ли в его словах какого-либо второго смысла? Не считал ли он самого себя вот этаким цепким и живучим шиповником? Трудно сказать теперь, так это или не так, но трудно и удержаться от подобного толкования. Уж очень оно заманчиво по-своему.

Идут дни, идут недели и месяцы, и вот в камеру впархивает письмецо от жены, письмецо из Москвы. В письме два кусочка плотной глянцевой бумаги — фотографии детей, — он и не думал, что это может так его обрадовать. И он был также чрезвычайно рад тому (писал он потом с некоей затаенной усмешкой), что смог собственными глазами убедиться в наличии у них туловища и ног: ведь вот уже три года, как он видит только их головы, и он начал было уже подозревать, что они превратились в херувимов, только без крылышек! И опять перо бежит по бумаге, и опять выстраиваются в ряд слова, в одно и то

же время лирические, и язвительные, и таящие в себе какую-то удивительную прелесть:

«Все же не исключено, что еще в этом году распустится какая-нибудь маленькая скромная розочка. Мне это приятно, так как последний год меня интересуют космические явления (быть может, это происходит оттого, что, как говорят в моем родном краю, кровать моя удачно расположена соответственно направлению благоприятных земных токов и, когда я сплю, клеточки организма совершают круговращение в унисон со всей вселенной). Я с большим волнением ожидал летнего солнцестояния, и теперь, когда Земля приближается к Солнцу (вернее, вновь идет по прямой после стояния), у меня на душе становится веселее (это связано с тем обстоятельством, что вечером в камеру приносят свет, — вот оно, благодатное течение земных токов!); смену времен года, связанную с солнцестоянием и равноденствием, я ощущаю как собственную плоть; роза жива и, несомненно, расцветет, ибо под теплыми лучами тает лед и под снегом уже тянутся к жизни первые фиалки…» А потом следует удивительный возглас: «Одним словом, время представляется мне как нечто телесное с тех пор, как для меня больше не существует пространства». И все-таки пространство продолжало существовать. Существовали Италия и Франция, Россия и Германия, существовал Берлин, где он некогда позвонил у дверей помпезного здания итальянского посольства. Ему отворил швейцар в ливрее с галунами, величественный швейцар, повелитель столь же величественного вестибюля. Узнав, в чем состоит просьба, швейцар доложил по телефону господину советнику посольства профессору Умберто Космо, что некто Грамши желает быть принятым им, и что же, Швейцар потрясен: профессор, не вдаваясь в тонкости дипломатического этикета, сбежал с лестницы и кинулся на шею скромному Антонио Грамши! Профессор обливается слезами и приговаривает: «Ты понимаешь, почему! Ты понимаешь, почему!» И он, Антонио Грамши, совершенно утопает в роскошной профессорской бороде… До чего же он взволновался, профессор Умберто Космо! И он все простил — даже ту статью позапрошлого года, в которой Грамши воздал ему должное, но, может быть, несколько опрометчиво… «Да, старый Умберто Космо искренне любил своих учеников! Как он там теперь? Может, и он теперь оплакивает меня? Как все мои родные и близкие. А я вовсе не хочу, чтобы меня оплакивали; я — борец, которому не повезло в битве нынешнего дня, а бойцов нельзя и не следует оплакивать, когда они борются не по принуждению, а потому, что они сами сознательно желают этого».

Но, может быть, и в самом деле пора подводить итоги? Десять лет занимался он журналистикой, написал великое множество статей и заметок, но все это не собрано, разбросано по всяческим газетам, журналам и журнальчикам, порою эфемерным. А ведь если собрать все это воедино, это составило бы пятнадцать или двадцать томов, страниц по четыреста каждый; но писалось все это на злобу дня и, по-видимому, на следующий же день утрачивало всякое значение.

В восемнадцатом профессор Космо, все тот же Космо, хотел выпустить сборник статей Грамши, он хотел их опубликовать с весьма благожелательным и лестным предисловием, но он, Грамши, не согласился. А в ноябре двадцатого его уговорил Джузеппе Прецциолини, издатель — сборник статей чуть было не вышел, и статьи эти были объединены общим замыслом, но в последний момент он, Грамши, передумал.

И Франко Чарлантини, депутат, в 1924 году предлагал Грамши написать книгу о движении «Ордине Нуово» и выпустить ее в своем (фашистском!) издательстве, ничего в ней не меняя, ни одной запятой! Это было очень заманчивое предложение — в самом факте выхода книги, что называется, из вражьего логова был какой-то элемент признания значимости того, что делали он **и** его друзья, но, поразмыслив, он все же ответил отказом. Статьи его разбросаны. Он их не собрал, не свел воедино. Попросту не успел. Да и успеет ли когда-нибудь?

Надвигаются новые, еще неслыханные катаклизмы. Битва не кончена, нет. Битва за Италию не кончена. Но он неподвижен, он прикован к стенам этой вот тюрьмы. Жизнь его была самым грубым образом втиснута в рамки, установленные внешней силой, причем его свобода была ограничена лишь внутренней жизнью, а воля его стала лишь волей к сопротивлению. И все-таки он должен работать, должен писать, писать. Хорошо бы иметь тетрадки обыкновеннейшего школьного формата и не, толстые — страниц по сорок-пятьдесят. Вот в такие маленькие тетрадки он и перепишет свои заметки, разбив их по темам **и** приведя их, таким образом, в должный порядок. Это поможет ему скоротать время и принесет пользу, ибо даст возможность навести кое-какой порядок и в собственных мыслях.

(Тетрадки эти были ему доставлены и заполнены его аккуратным почерком, а потом, во время одного из переездов, вынесены из стен тюрьмы. Их ожидала необыкновенно славная будущность.)

Клиника доктора Кусумано

Рассказывает коммунист Густаво Тромбетти — он находился в Тури ди Бари вместе с Антонио Грамши:

«Однажды утром в марте, во время прогулки мы увидели, что Антонио совсем обессилел и с трудом может передвигаться. Несколько дней спустя (7 марта 1933 года) рано утром, вставаяс постели, он потерял сознание и долго пролежал на полу своей камеры. Целый день он находился в полубессознательном состоянии».

Он бредил. Боялся, что священник причастит его помимо его воли. В бреду он говорил о бессмертии души — о бессмертии человеческих дел.

И Тромбетти продолжает:

«После того он уже больше не оправился. В течение пятнадцати дней и ночей я и еще один коммунист постоянно находились возле него, установив двенадцатичасовые дежурства; затем, когда мы добились разрешения тюремного начальства, я окончательно перебрался к нему в камеру для ухода за ним и оставался с ним вплоть до того дня, когда его перевели из Тури».

Антонио Грамши отбыл из Тури 20 ноября 1933 года. Но этому событию предшествовал длительный период мытарств и ожиданий — больше полугода.

Об обстоятельствах, приведших к переводу в клинику, следует рассказать подробнее. Нужно только предупредить читателя, что мы ведем рассказ о тяжело больном человеке, находившемся уже, собственно, на краю могилы, — о человеке, который был уже на пределе своих физических возможностей.

7 декабря 1933 года Антонио Грамши был доставлен в клинику доктора Кусумано в Формии.

Произошло это, естественно, не само собой. Этому событию предшествовала декларация профессора Арканджели. Осмотрев больного в тюрьме в Тури, Арканджели доложил властям о состоянии здоровья узника, если только слово «здоровье» могло быть применено к тогдашнему состоянию Грамши. Оно было совершенно катастрофическим, и итальянское правительство сочло возможным сделать якобы гуманный жест в ответ на широкую кампанию в зарубежной печати — кампанию в защиту Грамши и других узников фашистских тюрем. Между прочим, в этой кампании участвовали и такие более чем далекие от коммунизма люди, как, например, архиепископ Кентерберийский. Зарубежная печать требовала применения к Грамши так называемого «условного освобождения», меры, предусмотренной

законами Италии.

Правительство добивалось такого рода просьбы от самого Грамши. Предполагалось, что он должен подать соответствующее прошение на имя главы правительства, то есть на имя Муссолини. Грамши неоднократно отказывался от этого шага.

Он считал это нравственным самоубийством. К тому же он знал, что пресловутое «условное освобождение» ограничится только переводом в клинику; знал, что во всем остальном тюремный режим будет сохранен. И, как показали дальнейшие события, почти не ошибся в своем предположении. Все же прошение об «условном освобождении» было им подано в сентябре тридцать третьего года. Трудно сказать, что было толчком к этому. Возможно, что непрестанные настояния близких — Татьяны Шухт и брата Карло — сыграли в этом решающую роль. Дело ведь шло уже не о «нравственном» самоубийстве, а о самоубийстве чисто физическом. После свидания с узником в Тури брат Карло и Татьяна принимают меры к ускоренной передаче прошения. Антонио пережил в эти дни исключительный психический кризис, он глухо упоминает об этом в письмах к Татьяне. Итак, прошение пошло по соответствующим бюрократическим каналам, и ответ на него последовал относительно скоро, почти без обычных проволочек: уже в октябре Карло Грамши наведался в Миланскую квестуру, навел там справки и получил ответ, что управление полиции соблаговолило избрать для Антонио местом пребывания клинику доктора Кусумано в Формии. Затем начались неизбежные в данном случае измывательства. В палате, предназначенной для пребывания узника, должны были быть приняты так называемые «меры предосторожности». В чем же они состояли? Оказывается, на окно больничной палаты следовало поставить решетку. Эту решетку семья должна была поставить за свой счет. Расходы по содержанию в клинике были также возложены на семью заключенного. Для покрытия этих расходов брат Карло решил продать домик в Гиларце. Власти старались, как могли, унизить Грамши и его семью и, наигравшись и натешившись вволю, решили, что просьба об «условном освобождении», таком, как они сами его понимали, может быть удовлетворена. И вот 18 ноября в Тури ди Бари приходит приказ доставить Антонио Грамши в клинику доктора Кусумано в Формии.

Обратимся опять к свидетельству Тромбетти. Вот что он рассказывает:

«Отъезд Грамши из Тури произошел неожиданно. В сопровождении стражника мы отправились на склад и там собрали вещи Антонио. Пока он, заранее условившись со мной,

занимал разговорами стражника, я засунул в чемодан и спрятал среди вещей восемнадцать полностью исписанных тетрадей Грамши… Вернувшись в камеру, Грамши сказал, что он не будет ложиться спать, добавив, что до утра недолго ждать, а новой встречи мы не скоро дождемся. Он поручил мне сообщить на «волю» о том, как он жил в тюрьме, о том, как здесь с ним обращались… Около шести часов утра следующего дня, когда было еще темно, пришли вооруженные конвойные. Антонио отпорол от арестантского халата номер, который он носил в течение пяти лет, и оставил его мне на память… Его посадили в тюремный фургон, я поставил рядом с ним его чемодан, мы обнялись, фургон тронулся и вскоре исчез в сумраке… Я плакал так, как не плакал уже много лет».

И вот Грамши в поезде. Трудно описать его чувства, трудно найти для них достойные слова — впрочем, он сам спустя несколько лет рассказал о том, что тогда чувствовал, в письме к жене:

«…Какое сильное волнение охватило меня в поезде, когда после шести лет, в течение которых я видел только одни и те же крыши, одни и те же каменные стены, одни и те же мрачные лица, я вдруг обнаружил, что все это время необъятный мир — луга, леса, обыкновенные люди, дети, деревья, огороды — все продолжало существовать по-прежнему. И я был еще более потрясен, когда после столь долгих лет увидел себя в зеркале. Я сразу же вернулся к карабинерам…»

Грамши попал в Формию не сразу. Восемнадцать дней он провел в тюремной больнице в Чивитавеккиа. В той же тюрьме находились в те дни его товарищи-коммунисты: Террачини, Скоччимарро, Челесте Негарвилле, Джанкарло Пайетта, Ли Каузи. Грамши не мог их видеть. Его строго стерегли. И его не видел никто. Вот разве что один коммунист увидел его. Произошло это совершенно случайно, когда его вместе с Грамши повели на медицинский осмотр. Грамши шел медленно, по всему было видно, что его лихорадит. Он зябко кутался в свой арестантский халат. Вот и все. После этого случая ни один итальянский коммунист уже никогда не увидел его живым.

Формия, или Моло ди Гаэта, — это городок, в нем тысяч десять жителей, морские купанья — летний дешевый курорт. В общем клиника доктора Кусумано не слишком напоминала тюрьму. Это было старинное громоздкое здание «несколько обветшалого вида», как выражается Дзукарро, автор книжки о тюремных годах Грамши. Клиника стояла на краю залива, у самого моря. Из окна, хотя и зарешеченного, открывался широкий вид — море ослепительно сияло, даже глаза болели от этого

резкого света. Был и балкон. Медицинская помощь больному оказывалась довольно примитивная, но, как выяснилось, действенная. Шеф заведения — доктор Кусумано — вел себя вполне корректно, обращение персонала не оставляло желать лучшего; словом, по сравнению с Тури преимущества были вполне ощутимые. Но надзор, неусыпный и мелочный, преследовал Грамши и здесь. У дверей палаты почти всегда торчал карабинер и стража в коридорах и вне здания; охрана из восемнадцати карабинеров и двоих полицейских под командой особого комиссара. Все эти вооруженные до зубов служивые стерегли тяжело больного человека, человека, который по целым дням порой бывал не в состоянии подняться с постели без посторонней помощи! Ночные проверки были особенно невыносимы — отнимали у больного большую часть облегчения, которое могло бы дать ему новое место. В состоянии организма (болезнь Потта, туберкулезные очаги, далеко зашедший артериосклероз) весной произошло некоторое улучшение. Но шло оно медленно. Лишь несколько месяцев спустя Грамши смог приступить к работе, хотя он и поднимался не раз и выходил даже гулять в сад при клинике. Хлопоты об «условном освобождении» продолжались. Вернее, о переводе в частную клинику, пусть и под надзором королевских карабинеров… Да, Грамши подавал прошение о переводе «в специализированную клинику или куда-либо по соседству со специализированной клиникой». Прошение было составлено в крайне сухих и сдержанных тонах, безо всякого намека на мольбу, на стремление разжалобить. Грамши ссылался на соответствующие статьи — 176-ю статью уголовного кодекса и 191-ю статью тюремного распорядка. Очень может быть, что текст прошения обсуждался с родными и с другом Пьеро Сраффой, ибо они посещали его в этот период. Именно через Пьеро Сраффу (товарища Грамши по Туринскому университету) удавалось поддерживать контакт с международным комитетом защиты политзаключенных в фашистских тюрьмах. Комитет развил энергичную деятельность в пользу освобождения Грамши. В сентябре тридцать четвертого года была опубликована отдельной брошюрой статья Ромена Роллана. Он писал:

«Среди этих обреченных на смерть, которых влечет за своей колесницей лжецезарь, находится великий борец Антонио Грамши.

Он вождь. Свидетельством тому — неистовая злоба палача-дуче. Имя Грамши войдет в историю рядом с именем Маттеотти. И он так же велик душою и, возможно, еще более велик мыслью. Ибо он стал в Италии предвестником нового социального строя».

Так или иначе, но 25 октября 1934 года вышел декрет о так называемом «условном освобождении». Далее начинается привычная уже лицемерная комедия. Прокурор отдает распоряжение о немедленном освобождении Антонио Грамши. Но, естественно, его не освобождают. Надзор не уменьшается. Грамши по-прежнему стерегут. Чтобы посетить его в клинике, требуется специальное разрешение. Словом, Антонио Грамши продолжает оставаться в изоляции. Правда, ему разрешили выходить из клиники. Этим разрешением он, по-видимому, воспользовался всего дважды. Один раз он отправился на прогулку пешком с братом Карло, а другой раз — в пролетке — с Пьеро Сраффой. Правда, было сделано еще одно послабление. Решетка с окна была снята. Таким образом, символическая сторона дела была в порядке — декорум был соблюден. В общем Грамши в клинике доктора Кусумано был одинок. Он проводил дни в чтении, иногда и писал. Во всяком случае, кое-какие из его «Тюремных тетрадей», по некоторым данным, были заполнены в Формии. Из людей, явно враждебных фашистскому правительству, в клинике Кусумано находился в те дни генерал Капелло, человек, причастный к покушению Дзанибони на Муссолини. С Грамши они встречались, но редко.

В августе 1935 года Грамши было предписано перебраться в клинику «Квисисана» в Риме; эта клиника, на улице Джан Джакомо Порро, была ему назначена в качестве **предварительного местонахождения** согласно судейско-полицейской терминологии. Грамши мучили приступы подагры, состояние его было скверным, и отъезд задержался. В конце августа в Формию прибыл сотрудник римской «Квисисаны» — профессор Витторио Пуччинелли. Он забрал Грамши в Рим, туда больной прибыл 26 августа. На следующий день его посетил крупный медик — профессор Чезаре Фругони. Диагноз был весьма безрадостным — болезнь Потта, туберкулез легких, гипертония, ангиноидные кризы, приступы подагры. Дзукарро в книжке о тюремных годах в жизни Грамши сообщает о своем разговоре много лет спустя с сотрудницей «Квисисаны» сестрой Анджеликой. Она присутствовала в приемном покое, когда Грамши прибыл из Формии. Он выглядел так, рассказывала она Дзукарро, что она, опытнейшая сестра, сомневалась, что больной сможет сопротивляться недугу больше нескольких дней. Тем не менее в Риме поначалу в состоянии его здоровья произошло заметное улучшение. Видимо, этому он был обязан новой системе лечения и в какой-то мере перемене обстановки. Впрочем, и в Риме, в клинике «Квисисана» на улице Джан Джакомо Порро, надзор отнюдь не был ослаблен. В клинике постоянно дежурила

дюжина полицейских. Вне здания и внутри его. А двое из них дежурили в коридоре у самых дверей палаты № 26, в которой находился Антонио Грамши. Родные

Грамши и Пьетро Сраффы протестовали, пытались добиться подлинного условного освобождения согласно декрету от 25/X 1934 года. Все эти протесты не возымели действия. Антонио Грамши продолжал находиться под неусыпным и недреманным надзором. И все-таки в какой-то мере переезд в Рим улучшил положение Грамши. В Тури ди Бари посещать его было крайне затруднительно, в Формии, видимо, несколько легче, но все же не без труда. Теперь, когда он находился в Риме, Татьяна Шухт получила возможность часто посещать его и даже оставаться по целым дням рядом с больным.

Сроки пребывания в заключении были сокращены в итоге нескольких амнистий. В апреле тридцать седьмого года этот срок и вовсе истекал. Но Антонио Грамши был тяжко болен. Может быть, в глубине души он и знал, что жизнь его так и завершится здесь, в больнице, под надзором, что он так и умрет фактическим узником, хотя и «условно освобожденным». Однако он все же строил планы на будущее. Он надеялся вернуться к себе на родину в Сардинию. Антонио склонялся к мысли поселиться в Сантулуссурджу, в местечке, где он жил еще, когда был гимназистом. Он читает, много читает, особенно в Риме. Но он устал, он очень устал — по сути, нет даже свидетельств того, что в Риме он продолжал работать. Видимо, последние из «Тетрадей» написаны в Формии. Однако из некоторых писем того периода видно, что он не изменился, не пал духом, что мысль его работала по-прежнему и, главное, была по-прежнему ясной, несмотря на все пережитые мытарства и испытанные муки, несмотря на психические кризисы и физические страдания. Он ожидал перемены, он желал, жаждал этой предстоящей перемены, она больше не казалась ему недостижимой, он ждал перемены к лучшему. Может быть, он обольщался относительно своего здоровья. Во всяком случае, он был, по-видимому, уверен в одном: в том, что ему еще суждено увидеть синее небо родного острова Сардиния. Но он обманывался. И все-таки до последнего мгновения ничто не предвещало внезапной кончины.

Последние часы

В письме Татьяны Шухт к Юлии, кажется, звучит самый ее голос, прерывающийся от волнения. Важное и неважное, значительное и случайное перемешаны здесь. Но тем ценнее, тем искреннее эти показания:

«Мы кремируем тело. Были определенные трудности с получением разрешения, но, наконец, все уладилось. Сделали снимок с тела и гипсовую маску. Потом отольем лицо в бронзе, а также правую руку. Гипсовая форма удалась точно, и я надеюсь, что бронзовая тоже выйдет хорошо, мы доверим это сделать скульптору. Есть также фотография, снятая в Формии, после того как Нино получил извещение об условном освобождении. Я ее еще не разыскала.

У Нино было кровоизлияние в мозг 25 апреля вечером. Именно в этот день в 12.30 он получил извещение с грифом канцелярии Римского Судебного Надзора, извещение, которым прекращался за истечением срок условного освобождения и отменялись все меры предосторожности в отношении Нино. В этот день Нино выглядел не хуже, чем обычно. Как всегда, я вернулась в клинику в половине шестого вечера. Как обычно, мы поговорили о событиях дня, и, так как мне нужно было приготовить урок по французской словесности, я собиралась почитать немного с Нино».

Но Антонио не хотел читать Корнеля… Они, Татьяна и Антонио, немного поговорили, пока не пришло время ужинать. Татьяна предложила взять извещение и показать комиссару. Антонио сказал, что это не к спеху, что это можно сделать и в другой день. Он поел, как обычно, немного минестры — нечто вроде рагу. Съел еще кусочек бисквита с вареньем. Вышел — и был принесен обратно на носилках. У него отнялась левая сторона совершенно. Речь полностью сохранилась. Он говорил, что сильно ослабел, но у него еще хватило сил позвать на помощь.

И Татьяна продолжает:

«Улегшись, он позвал одного из врачей, которые еще оставались в клинике. Первым пришел доктор М., который не дал указания сделать какую-либо возбуждающую инъекцию, уверяя, что это только ухудшит состояние, но Нино с большим жаром требовал инъекции, более того, просил дать двойную дозу, одним словом, Нино был вполне в себе, в частности, рассказал доктору, как он упал, и так далее… Когда потом ему положили грелку к ногам, он мне впервые сказал, что очень обжигает, а потом

сказал, что левая нога почти не чувствует горячего… Профессор П. ожидался с минуты на минуту — он был вызван на неотложную операцию. Около девяти он пришел, сопровождаемый ассистентом, установил полную неподвижность левой стороны, неподвижность руки и ноги, назначил лед на голову и грелку к ногам, и Нино сказал, что не хочет, и сказал еще профессору, что он все слышал. Он сказал еще, что не утратил ощущения, но только утратил чувствительность и подвижность левой стороны. П. повторил слова Нино: «Левая нога слабая, да, слабая», — сказал он. Он предписал делать кровопускания. Нино еще отлично говорил, не проявляя никаких признаков усталости. П. мне сказал, что Нино будет оставаться вполне спокойным. Потом Нино попытался занять более удобное положение, расправлял одной рукой складки одеяла. К несчастью, только через час с небольшим пришли сделать кровопускание… Нино говорил, как бы проглатывая горошину, перед тем как произнести слово. Когда пришел врач сделать кровопускание, Нино молчал, глаза его были закрыты, дыхание затруднено. Кровопускание не дало желаемого результата, и доктор Б. сказал сестре, что состояние больного безнадежное. Пришел священник и с ним другая сестра, я протестовала самым серьезным образом, требовала, чтобы Антонио оставили в покое, в то время как пришедшие пытались сделать все по-своему. Священник мне сказал, что он не вправе настаивать. На следующее утро пришел Ф.[41] Вся ночь прошла без малейшего улучшения. Когда я обратилась к Ф., прося его сказать, каково истинное положение больного, он ответил, что оно самое тяжелое и что ничего сделать невозможно, как ничего не может сделать архитектор, когда дом рухнул…»[42]

Ф. велел поставить пиявки к затылку и прописал кое-какие инъекции. Татьяне показалось, что в полдень Антонио стало немного лучше. Но через сутки после удара вернулись прежние симптомы — рвота и прочее, и он стал дышать исключительно тяжело. Больному увлажняли губы, пытались искусственно возбудить дыхание… но прозвучал последний громкий вздох и затем — тишина безысходная… Татьяна позвала доктора, который подтвердил ее опасения. Было 4 часа 10 минут 27 апреля; в 5.15 пришла сестра, желая поместить тело в морг. Татьяна попросила ее обождать немного, наутро ожидался Карло. Она позвонила знакомому, и он прислал лепщика, чтобы снять маску…

Татьяна пишет:

«Когда приехал Карло, он сказал, что надо сделать фотографию. Тем временем пришел мой знакомый с лепщиком;

их не хотели пропускать; было сказано, что все нужно было уладить заранее, что они пришли слишком рано. К счастью, все уладилось, и они приступили к делу. Прежде чем дать им уйти, от них потребовали кучу доказательств того, какие между ними взаимоотношения, и т. д. Затем пришел фотограф и был вынужден отвечать на вопросы, обращенные к нему. В полдень мы хотели войти в морг, но было распоряжение министерства, что никто не должен входить туда, никто не должен видеть тело. Мы были засыпаны вопросами — зачем снимали маску, делали снимок и пр.; мы просили разрешения на частные похороны. Мы остались, я и Карло, окруженные многочисленными агентами, все они сопровождали нас во время кремации. Власти торопили с кремацией, но останки пока нельзя было предать земле. Прах находится в цинковой капсуле, а она — в деревянной. Будет храниться в течение десяти лет в месте, зарезервированном губернаторством. (Урна с прахом Антонио Грамши была впоследствии предана земле на Английском кладбище в Риме, рядом с могилой поэта Шелли.) Сообщение о смерти передано по радио и опубликовано в газетах, в нескольких фразах».

Татьяна сообщала еще, что получила письмо для семейства Грамши. Письмо это было от Фабрицио Маффи — коммуниста, врача, старика уже. Маффи был долгие годы в ссылке, лечил местных крестьян — они считали его святым: когда Маффи увозили в тюрьму, все население высыпало провожать его, а приходский священник публично благословил его, коммуниста. Это была антифашистская демонстрация, хотя и немая: без лозунгов и возгласов. Фабрицио Маффи писал, что хочет сделать что-нибудь в память о Грамши.

Так завершилось земное существование смертного человека Антонио Грамши. Но бессмертная его слава была еще впереди. До краха Муссолини оставалось немногим более шести лет. До окончательного низвержения фашизма — около восьми. Доктор Фабрицио Маффи (а он был почти на четверть века старше Антонио Грамши) дожил до ликвидации фашизма. Маффи умер сенатором Итальянской республики. Он и другие коммунисты Италии сделали в память Грамши все, что могли. Они сохранили и выпустили в свет сочинения Грамши, его великое творческое наследие. Но произошло все это не сразу и не в один день. Истории «Тюремных тетрадей» Антонио Грамши и будет посвящена следующая глава.

О «ТЮРЕМНЫХ ТЕТРАДЯХ»

Эти рукописи могли и вовсе не увидеть света и остаться погребенными в архивах тюремного ведомства. К великому счастью, так не случилось. Татьяне Шухт удалось, обманув

бдительность полиции, выкрасть эти тетради сразу же после кончины Антонио Грамши. Она рассказывала об этом сестрам, вернувшись в Советский Союз, а она вернулась на Родину в год смерти Антонио, вскоре после его кончины. Спасение рукописей Грамши — поступок высокий и героический обессмертил память Татьяны Шухт (она умерла в 1943 году).

Татьяна, много лет прожившая в Италии, оставалась советской подданной, Пьеро Сраффа был подданным Великобритании. Это в известной мере облегчало им возможность получения свиданий с Грамши — с иностранцами фашистские чиновники не решались обращаться некорректно.

Рукописи Грамши были в 1937 году привезены в Советский Союз и в течение нескольких лет хранились в советских архивах. Затем, уже после второй мировой войны, «Тюремные тетради» вернулись в Италию. Центральный Комитет Итальянской коммунистической партии назначил специальную комиссию по подготовке к печати этих бесценных рукописей.

Вот мы говорим «Тюремные тетради»… Мы привыкли к этому названию. Но это и в самом деле были именно тетради — куадерни. И этих тетрадей было ровно тридцать две. У Грамши был чрезвычайно четкий и удобочитаемый почерк, но стремление уместить на каждой странице елико возможно большее количество текста заставляло его писать крайне мелко — лепить буковку к буковке. Для того чтобы прочесть рукописи Грамши, составителям его собрания сочинений пришлось вооружиться лупой.

По всей вероятности, в тюрьме Тури ди Бари была заполнена двадцать одна тетрадь. Об этом свидетельствует хотя бы то обстоятельство, что на каждой странице этих тетрадей имеется печать тюрьмы в Тури. Но есть еще одиннадцать тетрадей. Страницы их не проштемпелеваны, а сами тетради не датированы. Они, почти несомненно, относятся к периоду, последовавшему за переводом в Формию (а может быть, какая нибудь из них заполнена даже в период пребывания в «Квисисане», но на этот счет никаких определенных данных пока не имеется).

Во всех тетрадях в общей сложности 2848 страниц. При расшифровке это составило 4000 страниц машинописи, или сто шестьдесят печатных листов — целое собрание сочинений в 10–12 томов солидного объема.

Тетради, возникшие в Тури, — это целый конгломерат заметок и исследований. Здесь нет особой заботы об их формальном единстве и цельности. Видимо, Грамши записывал свои мысли так и в той форме, в какой они явились его

умственному взору,

А затем приходит очередь тетрадей второй группы. В них также новые мысли и новые рассуждения. Но главная цель Грамши в процессе работы над ними — это придать цельность предшествующим своим исследованиям, привести предыдущие свои записи в определенный порядок; одним словом, упорядочить и обработать результаты своих работ, итоги своих раздумий и размышлений.

Антонио Грамши не рассматривал свои «Тетради» как некий завершенный труд. Он считал записи, помещенные в них, лишь «основным материалом для ряда будущих основополагающих очерков». Еще 8 февраля 1929 года в тетради первой Грамши сформулировал первоначальный план своей работы. Некоторые положения этого первого плана были расширены и развернуты во втором плане, относящемся к 1932 году; он настолько интересен, что хочется привести его почти полностью:

«Предварительный характер этих заметок и замечаний как записок «для памяти». Они могут составить основу для отдельных очерков, а не для органического труда синтетического характера. В них нет подразделения на основную часть изложения и второстепенные подробности, на «текст» и то, что должно поместиться в подстрочных примечаниях; они содержат отчасти утверждения еще не подтвержденные, утверждения, которые можно было бы назвать «вступительно-приблизительными», в ходе дальнейших исследований они могут быть отвергнуты или же может оказаться, что верными являются как раз утверждения диаметрально противоположные. По вышеупомянутым причинам нельзя ставить им в укор расплывчатости и неопределенности обозначения темы; в действительности у меня нет ни малейшего намерения создавать туманный сборник исследований об интеллигенции или какую-либо энциклопедическую компиляцию, которая могла бы заполнить собой всевозможные «пробелы».

Основные положения — Общее вступление — Развитие итальянской интеллигенции до 1870 года: отдельные периоды — Народная литература романов-приложений — Фольклор и здравый смысл — Проблема литературного языка и диалектов — Потомство отца Брешиани — Реформация и Возрождение — Макиавелли — Школа и просвещение — Роль Б. Кроче в итальянской культуре в эпоху до первой мировой войны. Рисорджименто и партия Действия — Уго Фосколо и формирование национальной риторики — Итальянский театр — История Католического Действия — Католики интегралисты, иезуиты, модернисты — Средневековая община, экономически-корпоративная фаза государства — Космополитическая роль

итальянской интеллигенции до XVIII века — Реакция на отсутствие национально-народных черт в итальянской культуре: футуристы — Единая школа и ее значение для всей организации национальной культуры — «Лорианизм» как одна из характерных черт итальянской интеллигенции — отсутствие якобинства в итальянском Рисорджименто — Макиавелли как техник политики и интегральный политик».

Что и говорить, программа очень и очень широкая и увлекательная!

Тетради подлежали просмотру, заключенный должен был представлять их в дирекцию тюрьмы. Тюремная администрация едва ли была особенно сильна в вопросах философского и исторического порядка. Но определенные имена и термины могли броситься ей в глаза и настроить ее на более бдительный лад, поэтому терминология «Тетрадей» порой нарочито туманна.

Например, в «Тюремных тетрадях» Грамши много пишет о некоей «Философии практики». Что же это такое? Под этим термином-псевдонимом Грамши подразумевает марксизм; видимо, напиши он, так сказать, открытым текстом — марксизм, и тетради его стали бы рассматриваться как нечто подрывное и государственно опасное.

Несмотря на некоторую сложность стиля изложения, во многих случаях мы должны будем дать слово самому Антонио, чтобы читатель смог — в оригинале, а не в пересказе — ощутить всю великолепную диалектику, столь органически присущую всему его творчеству. Эта великолепная диалектика мысли не могла не отразиться и на чисто внешней, стилистической форме сочинений Грамши. Грамши-писатель не гнался за внешней красивостью. Но сложность и утонченность мысли не могла не повлечь за собой и известной формальной усложненности. Нужно учесть еще дополнительную усложненность перевода, ибо за ряд синтаксических построений ответственность должна быть возложена уже не на автора, а на его иноязычных истолкователей. Но и при учете всех этих факторов, неизбежно затрудняющих чтение, Грамши стоит читать в его подлинном виде, и, отчасти из этих соображений, пишущий эти строки не скупится на цитаты. Стиль — это человек, это уже давно стало общим местом, и то, что человек написал сам, хотя бы и не о себе самом, характеризует его, быть может, гораздо полнее и глубже, чем самая филигранная романизированная биография…

«Тюремные тетради» — документ в своем роде единственный и неповторимый.

Много было в истории человечества узников, осужденных, заключенных, лишенных радостей свободы, в одиночестве, в

тюремном одиночестве склонявшихся над рукописью, — людей, торопившихся запечатлеть на бумаге обуревающие их мысли и чувства.

Антонио Грамши был прежде всего политическим борцом, борцом истинным и беззаветным и не пощадившим жизни своей, сознательно пошедшим на величайшие муки и величайшие испытания. Но, пожалуй, в натуре его преобладали черты ученого, поэта, философа. Они, эти черты, отступали на задний план в те годы, когда он находился в самой гуще политической борьбы. А в годы тюремного заключения, в последние годы жизни, оторванный и отторгнутый от людей, от соратников по революционной борьбе, от родных и близких, — как мог поступить Антонио, что он мог сделать, чтобы и в этих тягостнейших условиях оставаться полезным своей стране, своей партии, своему народу? Он должен писать, писать во что бы то ни стало. Для него это не просто отдушина, бегство от одиночества. Нет, это его борьба, это его способ продолжать борьбу за дело всей его жизни, только иными средствами. И здесь, в тюремной камере, он остается революционером, он ведет революционную борьбу. И, стало быть, он активен. Он по-прежнему связан с миром.

Центральная идея «Тетрадей» намечается уже в его незаконченной работе «Некоторые аспекты южного вопроса». Работа эта, написанная до ареста, опубликована впервые в 1929 году в журнале «Стато операйо», выходившем в Париже. Грамши занимает проблема: что нужно для победы пролетариата?

Пролетариат сможет победить и обеспечить стабильность нового строя. Но это осуществимо лишь при одном условии: пролетариат должен завоевать для своего дела, привлечь к своему делу все другие эксплуатируемые и угнетенные классы. И в первую очередь — крестьянство. Но крестьянство связано с другими группами и прослойками — с интеллигенцией, например (Грамши применял термин **интеллигенция** весьма расширительно — сельское духовенство также включалось им в эту категорию). Интеллигенция выполняет в данном случае роль распространительницы буржуазного мировоззрения. Она популяризует концепцию жизни, выработанную великими умами, великими интеллигентами господствующего класса. Как же оторвать, отделить крестьян от землевладельцев, от помещиков? Для этого следует содействовать формированию нового слоя интеллигенции, слоя, который отвергает буржуазное мировоззрение.

«Интеллигенция развивается в политическом отношении медленно, — пишет Грамши, — значительно медленнее почти

любой другой социальной группы вследствие самой ее природы и выполняемой ею исторической функции. Она воплощает в себе все культурные традиции народа, стремится в этих традициях подытожить и синтезировать всю историю; это относится особенно к старому типу интеллигента, рожденному на крестьянской почве. Думать, что интеллигенция в целом сможет покончить со всем прошлым и полностью встать на почву новой идеологии, было бы абсурдным. Это было бы абсурдом и по отношению к интеллигенции в целом и, быть может, даже по отношению к огромному числу отдельных ее представителей, несмотря на все благородные усилия, которые они предпринимают и стараются предпринимать. Сейчас нас интересует интеллигенция в целом, а не отдельные индивидуумы. Конечно, было бы очень важно и полезно для пролетариата, — продолжает Грамши, — если бы один или несколько интеллигентов в индивидуальном порядке присоединились бы к его программе и к его доктрине, слились с пролетариатом, стали бы и почувствовали себя его составной частью. Пролетариат как класс беден организаторскими элементами, у него нет собственного слоя интеллигентов, и он сможет создать его очень медленно, с большим трудом и только после завоевания государственной власти. Но, кроме того, очень важно и полезно, чтобы в массе интеллигенции произошел органический раскол, который имел бы исторически оправданный характер, чтобы оформилось в качестве массовой организации левое течение в современном смысле этого слова, то есть течение, ориентирующееся на революционный пролетариат. Такая организация необходима для установления союза пролетариата и крестьянства; тем более она необходима для установления союза пролетариата с крестьянскими массами юга Италии. Пролетариату удастся разбить южный аграрный блок в такой мере, в какой он сумеет с помощью своей партии вовлечь в самостоятельные и независимые организации все более широкие массы крестьянской бедноты; но эту неотложную задачу он сумеет выполнить тем лучше, чем сильнее ему удастся расколоть блок интеллигенции, являющийся гибкой, но в высшей степени прочной броней аграрного блока».

А завершается статья о проблемах юга следующими замечательными словами:

«существуют только две действительно национальные силы, ведущие нас в будущее: пролетариат и крестьянство…»[43]

На этом рукопись обрывается. Статья о проблемах юга осталась оборванной на полуслове. И в «Тетрадях» Грамши как бы продолжает и расширяет эту статью. С ней связана и работа по

истории итальянской интеллигенции. Но изучение истории интеллигенции следует начать не с нынешнего дня, и Антонио Грамши намечает основные вехи исследования о функциях интеллигенции в истории Италии на протяжении долгих столетий, вплоть до образования единого Итальянского государства. Впрочем, нельзя ограничиваться только работой по истории интеллигенции. Существует философия, представляющая собой нечто вроде теоретического фундамента, на котором зиждется господство буржуазии; необходимо, стало быть, дать критику этой философии. Пролетариат должен приобрести новое мировоззрение, должен приобрести сознание руководящего класса, осознать, что именно он-то и является руководящим классом, и наш долг, думает Грамши, помочь пролетариату приобрести это сознание. А для этого непременно нужно выработать некую новую концепцию жизни, диаметрально противоположную привычной буржуазной концепции, которая живет также и в сознании угнетенных.

Всякий исторический блок, всякий прочно сложившийся существующий порядок имеет свои точки опоры. И эти точки опоры — отнюдь не только насилие со стороны господствующего класса. Это не только принуждение, осуществляемое государственным аппаратом, хотя порой он и отлично справляется с этой своей функцией. Такими точками опоры является также примыкание, присоединение управляемых и угнетенных к тем жизненным концепциям, которые свойственны господствующим классам. Ведь философия господствующего класса уже не воспринимается классами угнетенными как таковая. Она в итоге многократных и более чем усиленных вульгаризации превратилась в философию масс. Она как бы стала общепринятым здравым смыслом, прописью, общим местом. Массы сознательно или бессознательно, скорее бессознательно, приняли мораль, обычаи, правила поведения, навязанные им, привитые им господствующим классом.

Так в чем же, по мнению Грамши, заключается проблема? Нужно выявить, каким образом господствующий класс достиг согласия с подчиненными классами. Нужно раскрыть, каким образом эти классы смогут опрокинуть старый, обветшалый порядок. И как они создадут иной порядок, иной строй, при котором свобода станет свободой для всех. Но Антонио Грамши чуждается абстракций. Он намерен рассмотреть интересующие его проблемы на сугубо реальном материале, на материале Италии — Италии вчерашнего дня и сегодняшней Италии. Он хочет знать, какова роль, каковы функции итальянской интеллигенции в процессе формирования буржуазного

государства. Зачем ему все это нужно? Грамши хочет выяснить: каким образом рабочий класс проложит себе дорогу к руководству обществом? Как он осуществит это политическое руководство обществом? Обществом и государством. Причем речь идет не о пролетариате вообще и не об обществе вообще. Грамши рассматривает эту проблему в совершенно конкретных условиях. В условиях Италии. С чего же он начинает? С эпохи Рисорджименто — то есть с эпохи борьбы за воссоединение Италии. Момент начала Рисорджименто спорен, но принято считать, что это движение захватило первые три четверти XIX столетия. По мнению Грамши, народ играл в Рисорджименто второстепенную роль. Итак, возможно ли, думает он, охарактеризовать Рисорджименто не как народное движение, а как завоевание власти буржуазией? Буржуазия встала во главе объединенного Итальянского государства. А мелкобуржуазная демократия? Она заняла подчиненное положение, была оттеснена на второй план. А ведь представители мелкобуржуазной демократии являлись как будто авангардом движения за освобождение и воссоединение итальянской нации. Так почему же итальянская демократия не стала правящим классом в объединенном государстве? Тому были различные причины, но главным образом это произошло потому, что мелкобуржуазная демократия не сумела встать во главе крестьянства. Следовательно, пролетариату необходимо учесть ошибки мелкобуржуазной демократии той не столь уж отдаленной эпохи. Пролетариат должен бороться за право руководить крестьянскими массами.

Грамши углубляется в изучение истории Рисорджименто. По его мнению, у народа в те времена еще отсутствовало национальное сознание — такова была культура, такова была литература тех времен, той эпохи. Литература эта не была «национально-народной». Почему? В силу того, что она была связана с идеологией империи, с идеологией верховной власти и с идеологией церкви. А это институты сверхнациональные. Итак, как полагает Грамши, народ не понимал задачи объединительного движения, и руководство этим движением взяли в свои руки приверженцы графа Камилло Бендзо Кавура, умеренные кавуристы. А они руководили процессом объединения в собственных целях — на всем протяжении борьбы, вплоть до образования нового Итальянского государства. А в государстве этом явственно обозначилась **и** проявилась некая форма буржуазной диктатуры.

И врожденным пороком тогдашнего Итальянского государства, причиной непрестанного возобновления

реакционных покушений является, согласно Грамши, то обстоятельство, что в движении, которым было вызвано к жизни объединенное Итальянское государство, отсутствовал якобинский дух.

Что же это такое — якобинский дух?

Грамши следующим образом отвечает на этот вопрос:

«Термин «якобинец» в конце концов получил два значения: первое — собственное, исторически точное значение, как название определенной партии французской революции… и якобинцем стали называть энергичного, решительного и фанатичного политика, который фанатически убежден в чудодейственной силе своих идей, каковы бы они ни были».[44]

Впрочем, вопрос о происхождении итальянского национального движения — сложный вопрос.

Грамши пишет:

«Эта историческая проблема замутнена сентиментальными и политическими наслоениями и предвзятыми суждениями всякого рода. Людям со «здравым смыслом» сейчас уже трудно понять, как это единая Италия — такая, какой она стала в 1870 году, — никогда не существовала и не могла существовать раньше: «здравый смысл» заставляет верить в то, что существующее сегодня существовало всегда, что Италия всегда была единой нацией, но ее задушили иностранные силы и т. д. Многочисленные идеологические течения, вскормленные стремлением считать себя наследницами античного мира, способствовали укреплению этой веры; впрочем, эти течения оказали значительную услугу, выступая в качестве основы организации политической, культурной и другой работы».

Грамши строго судит военно-политических руководителей эпохи Рисорджименто, ясно видит слабые стороны их позиции:

«.очевидно, что эти люди не смогли эффективно руководить народом, не смогли вызвать у него энтузиазм и подъем. Достигли ли они по крайней мере той цели, к которой стремились? Она говорили о намерении создать современное государство в Италии, а произвели какого-то урода; они стремились создать энергичный и обширный руководящий класс — и потерпели неудачу; они планировали включить народ в рамки государства — и это не удалось. Узость политической жизни в период с 1870 по 1900 год, широко распространенное стихийное бунтарство народных классов, скудное и стесненное существование ленивого и скептически настроенного руководящего слоя — таковы последствия этой порочности. И последствием этого является международное положение нового государства, которое оказалось лишенным действительной самостоятельности, ибо ему угрожали

изнутри папство и недоброжелательная пассивность широких масс».

Кстати сказать, в тех же «Тюремных тетрадях» есть великолепнейшие строки, посвященные все той же труднопреодолимой пассивности, индивидуальной и массовой:

«Индивидуум, даже если он сам ничего не делает, надеется, что коллективный организм действует, не догадываясь, что именно благодаря весьма широкой распространенности таких взглядов коллективный организм неизбежно остается в бездействии. Помимо этого, нужно признать, что вследствие чрезвычайно широкого распространения детерминистской и механистической концепции истории (то есть концепции здравого смысла, связанной с пассивностью широких народных масс) любой индивидуум, видя, что, несмотря на его бездействие, постоянно что-то происходит, склоняется к мысли, что именно вне зависимости от отдельных индивидуумов существует нечто фантасмагорическое, существует абстракция коллективного организма, своего рода самостоятельное божество, которое не мыслит какой-то конкретной головой и тем не менее все же мыслит, которое не передвигается с помощью определенных человеческих ног и тем не менее все же передвигается».

Этому апофеозу пассивности Грамши противопоставляет образ **активного политика**:

«Активный политик — это созидатель, человек, побуждающий к действию, но он не создает из ничего, не вращается в туманной пустоте своих желаний и мечтаний. Он исходит из реальной действительности; но какова эта реальная действительность? Быть может, это нечто статичное и неподвижное, а вовсе не соотношение сил, связанное с находящимся в непрерывном движении и изменении равновесием? Направлять волю на создание нового равновесия реально существующих и действующих сил, опираясь на ту определенную силу, которая считается прогрессивной, создавая условия для ее победы, все это значит, конечно, действовать на почве реальной действительности, но действовать так, чтобы суметь господствовать над ней и превзойти ее (или содействовать этому). Следовательно, «должно быть» является конкретностью, и, больше того, оно является единственным реалистическим, основанным на историзме истолкованием действительности, единственной претворяющейся в действие историей и философией, единственной верной политикой».

И от изысканий, связанных с определенным историческим материалом, Грамши переходит к более обобщенной постановке вопроса — он занят изысканием способов влияния одного класса

на другой. Способов влияния, способов воздействия одного класса на другие социальные группы. В каких формах может проявиться главенство определенной общественной группы?

Грамши различает здесь две формы. Первая — это то, что он называет господством. Эта форма проявляется в отношениях с враждебными группами. Но есть и вторая форма. Духовное и нравственное руководство массами — вот что такое гегемония, вот в чем ее суть!

Существует марксистско-ленинская теория пролетарской революции. Положения этой теории следовало применить к сугубо конкретной итальянской действительности. А это обязывало проделать скрупулезный анализ положения, сложившегося в Италии на протяжении столетий, связывая прошедшее и настоящее. А для этого, в свою очередь, помимо изучения характерных для Италии (впрочем, не для одной только Италии) разрывов между городом и деревней, между народом и образованным классом и т. д., требовалось углубиться в историю католицизма. Требовалось выяснить, как и почему он влияет на массы. И, главное, каким образом массы смогут освободиться от этого влияния. И Антонио Грамши, исходя из опыта Ленина, из опыта Советской России, строил теорию политической борьбы на Западе вообще и борьбы за пролетарскую революцию в Италии в частности. Грамши считал, что русский опыт не может быть в неизменном виде перенесен на западноевропейскую почву:

«Мне кажется, что Ильич понял необходимость превратить маневренную войну, победоносно примененную на Востоке в 1917 году, в войну позиционную, которая была единственно возможной на Западе, где… на небольшом пространстве армии могли сконцентрировать бесчисленное количество боеприпасов и где социальные кадры сами по себе были еще способны сыграть роль сильнейших укреплений. По-моему, это и означало бы осуществление формулы «единого фронта», которая соответствует концепции единого фронта Антанты под единым командованием Фоша,

Ильич только не имел времени, чтобы углубить свою формулу; однако надо учесть, что он мог углубить ее только теоретически, между тем как основная задача носила национальный характер, то есть требовала разведки территории и выявления тех элементов гражданского общества, роль которых можно уподобить роли траншей и крепостей и т. д.

На Востоке государство было всем, гражданское общество находилось в первичном, аморфном состоянии. На Западе между государством и гражданским обществом были упорядоченные взаимоотношения, и если государство начинало шататься, тотчас

же выступала наружу прочная структура гражданского общества. Государство было лишь передовой траншеей, позади которой была прочная цепь крепостей и казематов; конечно, это относится к тому или иному государству в большей или меньшей степени, и именно этот вопрос требует тщательного анализа применительно к каждой нации».

Применительно к итальянской нации этот анализ и был в значительной мере осуществлен в трудах Антонио Грамши, и в частности в его «Тюремных тетрадях».

Немалое место в «Тетрадях» занимают статьи и заметки, посвященные проблемам литературы. Здесь много внимания уделено вопросам литературной критики. Тщательно прослежены тенденции итальянской словесности в прошлом, рассмотрены ее современные тенденции (то есть тенденции тех лет, когда Грамши заполнял свои «Куадерни»). И основной вопрос, занимающий Грамши, таков: каковы перспективы развития народной литературы в Италии? Итальянская интеллигенция оторвана от жизни народа. Это явление давнее и, так сказать, традиционное. Однако итальянское общество нуждается в культуре, которая зиждется на принципе народности. Что же такое народность литературы? Это, по замечанию Грамши, «определенное интеллектуальное и моральное содержание, которое являлось бы разработанным и полным выражением наиболее глубоких чаяний определенной публики, то есть нации-народа, на том или ином этапе его исторического развития».

«Новая литература, — пишет Грамши, — не может не иметь исторической, политической, народной предпосылки: она должна стремиться к разработке того, что уже существует, полемически или другим способом — неважно; важно то, чтобы она уходила своими корнями в почву народной культуры, такой, как она есть, с ее вкусами, тенденциями, с ее моральным и интеллектуальным, строем, пусть даже отсталым и условным».

Но до создания первых творений этой грядущей «новой литературы» в те годы было еще очень и очень далеко.

Какие же задачи ставит он перед передовой интеллигенцией, перед настоящими или грядущими своими единомышленниками?

Каким необходимым требованиям, спрашивает Грамши, должно удовлетворять каждое культурное движение, стремящееся заменить «житейский смысл» и старые мировоззрения вообще?

И отвечает: «Непрестанно трудиться для интеллектуального возвышения все более широких слоев народа, то есть для того, чтобы придать индивидуальность аморфному элементу массы; это означает, иначе говоря, трудиться, чтобы вызвать к жизни интеллектуальные элиты нового типа, которые вырастали бы

непосредственно из массы, оставаясь при этом в контакте с массой, с тем, чтобы стать для нее тем же, что китовый ус для корсета».

«Это… как раз и является тем, что реально изменяет «идеологическую панораму» эпохи. С другой стороны, эти элиты, конечно, не могут сложиться **и** развиться, не выявляя из своей среды иерархии авторитетных, высокоинтеллектуальных и компетентных представителей — иерархии, которая может достичь высшей точки развития в отдельном великом философе, если он окажется способным конкретно прочувствовать настоятельные требования крепко сколоченного идеологического сообщества, понять, что оно не может обладать живостью мысли, присущей индивидуальному уму, и, следовательно, если он сумеет точно разобрать коллективное учение так, чтобы оно возможно более соответствовало и было близким образу мыслей коллективного мыслителя.

Очевидно, что такого рода организация масс не может осуществиться «произвольно», вокруг любой идеологии, по формально-конструктивной воле одного человека или одной группы, ставящей себе такую задачу вследствие фанатизма собственных философских или религиозных убеждений».

(Так узник № 7047 сводит счеты с идеологией фашизма, так он в своей душной **и** жаркой Апулии высмеивает новоявленного цезаря — самоупоенного дуче и всех его вольных и невольных приспешников и прихлебателей!)

Но это всего лишь мгновенный проблеск иронии: Грамши опять начинает изъясняться тоном строгим, несколько даже наставническим и сдержанным:

«Поддержка массой той или иной идеологии или нежелание поддержать ее — вот каким способом проверяется реальная критика рациональности и историчности образа мыслей. Произвольные построения более или менее скоро оказываются вытесненными из исторического соревнования, даже если, как это иногда бывает, им удается благодаря благоприятной комбинации непосредственных обстоятельств некоторое время пользоваться кое-какой популярностью; построения же, органически соответствующие требованиям сложного исторического периода, всегда в конечном счете берут верх и удерживают превосходство, даже если им приходится проходить через многие промежуточные фазы, когда их утверждение происходит лишь в более или менее странных и причудливых комбинациях».

Таким образом, в «Тетрадях», когда речь заходит о закономерностях истории, все явственнее начинает звучать бесспорно-оптимистическая нота, но оптимизм Грамши — это не

бездумно-бодряческий восторг, а оптимизм глубоко **выстраданный**, нерушимый сплав уверенности сердца й убежденности разума! И пусть идеология восходящего класса еще не достигла полнейшей ювелирной и филигранной завершенности, свойственной построениям модничающих идеалистов; и пусть провозвестникам этой новой идеологии восходящего класса порою приходится круто — нет сомнения, будущее за ними! А если внешняя оболочка новых идей может каким-то эстетам показаться грубоватой — не велика беда!

«Возможно ли, — восклицает Грамши, — чтобы «формально» новое мировоззрение вступало в мир в ином одеянии, чем грубое и непритязательное платье плебея? И все-таки историку, вооруженному всей необходимой перспективой, удается понять и установить, что первые камни нового мира, пусть еще грубые и неотесанные, прекраснее заката агонизирующего мира и его лебединых песен».

Антонио Грамши предпринял грандиозную попытку увязать свои взгляды с традициями итальянской философии, создать некий синтез классической итальянской философии и коммунизма — его мировоззрения, его концепций, его принципов действия.

Наследие Грамши не является абсолютно во всем бесспорным и не подлежащим критической оценке. Оно вызвало в кругах интеллигенции, особенно итальянской интеллигенции, живейшую полемику. Труды его дискутировались и обсуждались на всякие лады. Он не завершил их, не сказал последнего слова, не подвел под ними окончательной черты. Он совершил другое. Он обновил и оплодотворил итальянскую культуру во многих ее разделах. Под его влиянием оживилось изучение истории классической и современной философии, оживилось изучение истории общественных классов в Италии после долголетней и тягостной спячки, которой ознаменовалась эпоха Муссолини. Грамши пробудил в широких слоях итальянской интеллигенции живейший интерес к марксизму, к тому гениальному учению, которое так спешили похоронить незадачливые идеалисты всех мастей.

Идеи Грамши повлияли на современную литературу, теорию литературы и литературную критику, да и на разнообразнейшие области духовной жизни Италии, вплоть до кинематографии, ибо влияние его идей может быть прослежено даже в фильмах, например, Лукино Висконти (особенно «Леопарде»).

Таким образом, объем, размах и захват идей Антонио Грамши стал весьма заметен в послевоенной Италии 40-х годов.

Влияние это не ослабевает и в наши дни.

Наиболее глубокая оценка творчеству Грамши дана в целом ряде послевоенных работ Пальмиро Тольятти — друга и соратника Антонио Грамши, верного продолжателя его дела. Тольятти говорил:

«…Грамши был теоретиком политики, но прежде всего он был политиком-практиком, борцом. Его восприятие политики далеко как от инструментализма, так и от отвлеченного морализма и абстрактного теоретизирования. Делать политику означает действовать для преобразования мира. В политике содержится, таким образом, вся реальная философия каждого человека, политика заключает в себе суть истории, и для индивидуума, который пришел к критическому созерцанию действительности и задач, стоящих перед ним в борьбе за ее преобразование, она содержит также суть его нравственной жизни. Именно в политике следует искать единство всей жизни Антонио Грамши — его отправной и конечный пункты. Творческие поиски, труд, борьба, самопожертвование — вот моменты этого единства… Ошибочно было бы считать, что политика, понимаемая так, может замкнуться в совокупность норм, пригодных всегда и в любом месте. Мне кажется поэтому, что следует подвергнуть критике тех, кто рассматривает таким образом деятельность Грамши, и в частности содержание его «Тетрадей», силясь искусственно приблизить одну часть к другой, как бы для того, чтобы создать из них если не евангелие, то по меньшей мере учебник примерного мыслителя и практического деятеля-коммуниста.

Несомненно, что в его труде существует руководящая нить, но она может быть найдена и кроется в его реальной деятельности, начавшейся во времена юности, и постепенно развивается вплоть до прихода к власти фашизма, вплоть до ареста, а также после него.

…Что происходило в Италии и в мире в то время, когда Грамши, находясь в тюрьме, размышлял и писал? Был совершен переход, пользуясь его терминологией, от маневренной войны к позиционной войне, от драматического кризиса первого послевоенного периода и первого победоносного революционного натиска к попыткам стабилизации буржуазных режимов, с одной стороны, и строительству социалистического общества — с другой.

…Я не думаю, — продолжает Тольятти, — чтобы указание на необходимость учитывать актуальный характер политической мысли Грамши умаляло ее научную ценность… В тюремных работах, — говорит он, — содержится не только эхо битв предшествующих лет или оторванные от них размышления об

этих битвах, как могло бы показаться на первый взгляд, но они являются продолжением этих битв, углубляют все относящиеся к ним темы и развивают их, стремясь приспособить к новым условиям. Тем самым, — подчеркивает Паль-миро Тольятти, — подтверждается жизненность и истинность политической мысли Грамши».[45]

Эти слова, естественно, завершают повествование. В их сдержанном пафосе, в их скрытой страсти — суть земного существования Антонио Франческо Себастьяно Грамши, основателя Итальянской коммунистической партии, политического деятеля и писателя, умершего в римской клинике «Квисисана» 27 апреля 1937 года в 4 часа 10 минут утра, после десяти с половиной лет жесточайших тюремных мытарств.

Основные даты жизни и деятельности Антонио Грамши

1891, 23 января — Антонио Грамши родился в Алесе (Сардиния). Отец — Франческо Грамши, мать — Джузеппина Марчиас. Был четвертым из семи детей (Дженнаро, Грациетта, Эмма, Антонио, Марио, Терезина, Карло).

1905–1908 — Посещает последние три класса гимназии в Сантулуссурджу.

1911, лето — Получает лицейский диплом.

Ноябрь — Записывается на филологический факультет Туринского университета.

1915, 12 апреля — Сдает экзамен по итальянской литературе.

Это его последний экзамен. С этого момента Грамши покидает университет, но до конца 1918 года не отвергает предложения пойти в докторантуру.

1917, февраль — Грамши редактирует единственный номер органа Федерации молодых социалистов Пьемонта «Город будущего».

Июль — Публикует несколько статей и заметок в «Гридо дель пополо» о Ленине и русской революции.

Сентябрь — Грамши становится секретарем временного исполнительною комитета туринской секции ИСП.

1918, 22 июня — Публикует в «Гридо» статью «К познанию русской революции».

19 октября — С уходом Грамши прекращается выход «Гридо».

Грамши становится редактором туринского издания «Аванти!».

1919, 18–22 марта — Правление ИСП решило, большинством в десять голосов против трех, присоединиться к Коммунистическому Интернационалу.

1 мая — Выходит первый номер еженедельника «Ордине Нуово».

Май — Грамши избирают в исполнительную комиссию туринской социалистической секции.

1920, 28–29 ноября — Грамши участвует в собрании в Имоле, где официально создается коммунистическая фракция ИСП, так называемая «фракция Имолы».

1921, 1 января — В Турине выходит первый номер «Ордине Нуово» (ежедневной). Грамши — главный редактор новой

ежедневной газеты — органа туринских коммунистов.

15–21 января — Грамши участвует в Ливорно в XVII съезде ИСП. Делегаты коммунистической фракции объявляют 21 января образование «Партии коммунистов Италии. Секции Третьего Интернационала». Грамши входит в Центральный Комитет. В исполнительный комитет входят Бордига, Фортикьяри, Р. Гриеко, Л. Репосси и У. Террачини.

1922, июнь — Грамши участвует во II конференции расширенного ИККИ (7—11 июня).

Ноябрь — декабрь — Грамши участвует в IV конгрессе Коминтерна (5 ноября — 5 декабря).

1923, 12–23 июня — Вместе со Скоччимарро, Таской, Террачини и Вота Грамши принимает участие в работе III конференции расширенного ИККИ и произносит речь в комиссии по «итальянскому вопросу».

Ноябрь — В конце месяца Грамши переезжает в Вену.

1924, 6 апреля — Грамши избран депутатом от округа Венето.

12 мая—Возвращается в Италию после двухлетнего отсутствия.

Август — Грамши становится генеральным секретарем ИКП.

1925, май — Во второй половине мая в отчете ЦК ставит проблему «большевизации» партии и открывает предварительные дебаты в связи с приближением третьего всеитальянского съезда ИКП.

Осень — Юлия, жена Грамши, приезжает в Рим; она живет **с** сестрами Татьяной и Евгенией на виа Трапани.

1926, январь — Грамши участвует в третьем национальном съезде ИКП в Лионе и делает доклад об общей политической ситуации. Тезисы, выдвинутые Грамши, приняты подавляющим большинством голосов.

8 ноября — Грамши вопреки парламентской неприкосновенности арестован вместе с другими коммунистами и помещен в тюрьму «Реджина Чели» в абсолютной изоляции. На следующий день палата исключает депутатов-авентинцев и также депутатов-коммунистов.

18 ноября — На основе статьи 184 единого текста закона об общественной безопасности Грамши приговаривается к пяти годам ссылки под надзор полиции.

7 декабря — На Устику прибывают пять политических ссыльных. Во время пребывания на острове живет в частном доме вместе с Бордигой, Конкой, Сбаральини и двумя товарищами из Аквилы.

1927, 14 января — Миланский военный трибунал выдает

следственному судье Энрико Мачиеу мандат на взятие Грамши под стражу.

20 января — Покидает Устику, направляясь в миланскую тюрьму. Путешествие в «обычных условиях» продолжается девятнадцать дней, с остановками в тюрьмах и казармах Палермо, Неаполя, Кайянелло, Изернии, Сульмо-ны, Кастелламаре Адриатика, Анконы, Болоньи.

1928, 28 мая — Перед Особым трибуналом начинается процесс против Грамши и руководящей группы ИКП (Террачини, Роведа, Скоччимарро и др.).

4 июня — Грамши приговорен к 20 годам 4 месяцам и 5 дням заключения.

19 июля — Прибывает в Тури, где получает номер матрикула 7047.

1931, май — В апреле, в местности между Кельном ***и*** Дюссельдорфом, состоялся IV съезд ИКП. Согласно свидетельству Э. Рибольди, Грамши был уведомлен об этом в мае несколькими заметками симпатическими чернилами на страницах английского журнала.

Август — Грамши переносит первый тяжелый кризис. Утром 3 августа — неожиданное кровотечение.

1933, 19 ноября — Грамши покидает тюрьму в Тури и переводится в тюремную больницу в Чивитавеккиа.

7 декабря — Из тюрьмы в Чивитавеккиа его перевозят и помещают (как заключенного) в клинику доктора Кусумано в Формии.

1934, сентябрь — За рубежом развертывается кампания за освобождение Грамши. Ромен Роллан публикует брошюру, посвященную ему.

1935, 24 августа — Покидает клинику Кусумано. Переводится в клинику «Квисисана» в Риме.

1937, апрель — Истекает период условного освобождения, Грамши должен быть полностью освобожден. Кризис возникает неожиданно вечером 25 апреля. Кровоизлияние в мозг. Грамши умирает два дня спустя после полудня 27 апреля. Урна с прахом Грамши погребена на Английском кладбище в Риме, рядом с могилой Шелли.

Краткая библиография

В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, тт. 30, 41, 45.

Аббате, Микеле, Философия Бенедетто Кроче и кризис итальянского общества, М., Изд-во иностранной литературы, 1959.

Алатри, Паоло, Происхождение фашизма. М., Изд-во иностранной литературы, 1961.

Альдрованди Марескотти, Л., Дипломатическая война. М., ОГИЗ, Госполитиздат, 1944.

Антонио Грамши — великий сын итальянского народа. М., Госполитиздат, 1957.

Гарин, Эудженио, Хроника итальянской философии XX века. М., изд-во «Прогресс», 1966.

Грамши, Антонио, Избранные произведения в трех томах. М., Изд-во иностранной литературы. Том первый. «Ордине Нуово» (1919–1920). М., 1957. Том второй. Письма из тюрьмы. М., 1957. Том третий. Тюремные тетради. М., 1959.

Грамши, Антонио, О литературе и искусстве. М., изд-во «Прогресс», 1967.

Джерманетто, Дж., Феникоттеро. М., ГИХЛ, 1935.

Джерманетто, Дж., Записки цирюльника. М., Госполитиздат, 1959.

Кирова К. Э., Революционное движение в Италии 1914–1917 гг. М., Изд-во Академии наук СССР, 1962.

Лебедев А., Антонио Грамши о культуре и искусстве. Идеи и темы «Тюремных тетрадей». Очерки. М., изд-во «Искусство», 1965.

Ломбардо-Радиче Л., Карбоне Д ж., Жизнь Антонио Грамши. М., Изд-во иностранной литературы, 1953.

Лопухов Б. Р., Антонио Грамши. М., Изд-во Академии наук СССР, 1963.

Лопухов Б. Р., Борьба рабочего класса Италии против фашизма (1920–1922 гг.). М., Изд-во Академии наук СССР, 1959.

Лопухов Б. Р., Образование Итальянской коммунистической партии. М., Изд-во Академии наук СССР, 1962.

Монтаньяна, Марио, Воспоминания туринского рабочего. М., Изд-во иностранной литературы, 1951.

Объединение Италии. 100 лет борьбы за независимость и демократию. Сборник статей. М., Изд-во Академии наук СССР, 1963.

Роллан, Ромен, Собр. сочинений. Том тринадцатый, Публицистика (1917–1939). М., Гослитиздат, 1958.

Секкья, Пьетро, Влияние Октябрьской революции в Италии.

М., Госполитиздат, 1958.

Серрати Дж. М., Руководство для безупречного каторжника. М.—Л., ГИЗ, 1929.

Серрати Дж. М., Современная Италия. Экономические заметки. Л., Изд-во «Прибой», 1926.

40 лет Итальянской коммунистической партии. М., Изд-во ВПШ и АОН при ЦК КПСС, 1961.

Тольятти П., Итальянская коммунистическая партия. М., Госполитиздат, 1959.

Тольятти П., Речи в Учредительном собрании. М., Изд-во иностранной литературы, 1959.

Тольятти П., Жизнь и борьба Итальянской коммунистической партии. М., Госполитиздат, 1963.

Тольятти П., Избранные статьи и речи. Тома I и II. М., Политиздат, 1965.

Тридцать лег жизни и борьбы Итальянской коммунистической партии. Сборник статей и документов. Общая редакция Пальмиро Тольятти. М., Изд-во иностранной литературы, 1953.

Феррара Марчелло и Маурицио, Беседуя с Тольятти (биографические заметки). М., Изд-во иностранной литературы, 1954.

G r a m s c i A., II materialismo storico e la filosofia di Benedetto Croce. Torino, Einaudi, 1948.

G r a m s c i A, Gli intellettuali e I'organizzazione della cultura. Torino, Einaudi, 1949.

G r a m s c i A., Note sul Machiavelli, sulla politica e sullo Stato moderno. Torino, Einaudi, 1949.

G r a m s c i A., Letteratura e vita nazionale. Torino, Einaudi,1950.

G r a m s c i A., Passato e presente. Torino, Einaudi, 1951.

Gramsci A., Lettere dal carcere. Torino, Einaudi, 1965.

G r a m s c i. Scritti di Palmiro Togliatti, G. Amoretti. Roma, Ed. Rinascita, 1948.

Spriano P., Torino operaia nella grande guerra. (1914–1918). Torino, Einaudi, 1960.

Tamburrano G., Antonio Gramsci, La vita. II pensiero. L'azione. Manduria. Bari, Perugia, 1963.

Romano S. F., Antonio Gramsci. Torino, Unione tipogr.-ed. 1965.

F i o r i G., Vita di Antonio Gramsci. Ed. Laterza. Bari, 1966.

notes

Примечания

1

Фамилия эта произносится с ударением на первый слог — Гра'мши

2

Дядя Николино, старший брат отца, офицер, обучал некогда верховой езде наследника престола, будущего Виктора-Эммануила III. Благодарный принц подарил дяде Николино чистокровного скакуна. И фотография этого августейшего четвероногого украшала столовую в доме Франческо Грамши.

3

А. Грамши. Избранные произведения в трех томах, т. 2. М., 1957, стр. 159.

4

Пальмиро Тольятти, Итальянская коммунистическая партия. М., 1959, стр. 19.

Там же, стр. 22.

6

Л. Ломбардо-Радиче и Дж. Карбоне. Жизнь Антонио Грамши. М., 1953, стр. 20.

7

Цитата по книге G Fiori, Vita di Antonio Gramsci. Bari, 1966, p. 112.

8

Л. Ломбардо-Радиче и Дж. Карбоне, Ук. соч., стр. 27.

9

Цит. по книге Л. Ломбардо-Радиче и Дж. Карбоне, Ук. соч., стр. 29.

10

Пьетро Секкья, Влияние Октябрьской революции в Италии. М., 1958, стр. 8–9.

11

Там же, стр. 9.

12

В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 30, стр. 146–147.

13

Пьетро Секкья, Влияние Октябрьской революции в Италии. М., 1958, стр.12.

14

К. Э. Кирова, Революционное движение в Италии. 1914–1917 гг. М., 1962, стр. 311–312.

15

"Аванти!", 22/VII 1917 г. Цит. по книге П.Секкья, Ук. соч., стр. 29–30.

16

А. Грамши. Избранные произведения в трех томах, т. 1. М., 1957, стр. 356.

17

В переносном и прямом смысле. В недавно шедшей у нас итальянской картине "Инспектор поневоле" изображен киносеанс в провинциальном городишке. Идет кинохроника — Бенито Муссолини, обнаженный до пояса, что-то копает. Немолодое, дряблое, уже несколько обрюзгшее и расплывшееся тело, поросшее седым волосом. Маленький мальчик, сын местного фашистского вожака, задает отцу вопрос: "Папа, а почему все в рубашках, а Муссолини — без?" И папа на него угрожающе цикает.

Картина, конечно, игровая. Но кадры хроники — подлинные.

18

А. Грамши, Избранные произведения в трех томах, т. 1. М… 1957, стр.159.

19

А. Грамши, Избранные произведения в трех томах, т. 1. М., 1957, стр. 194.

20

В. И. Ленин, Полн. собр. соч, т. 41, стр. 254.

21

Пальмиро Тольятти, Избранные статьи и речи, т. 1. М… 1965, стр. 203–204.

22

А. Грамши, Избранные произведения в трех томах, т. 1. М., 1957, стр. 217.

23

М. и М. Феррара, Беседуя с Тольятти. М., 1954, стр. 63–64.

Количество голосов определялось численностью организации, делегировавшей своего представителя на съезд.

25

На русском языке публикуется впервые в переводе Цецилии Кин.

26

В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 45, стр. 293.

27

Это и последующие письма к жене цитируются в переводе Цецилии Кин, опубликованном в журнале "Иностранная литература", 1962, № 11, стр. 195–207.

28

М. Монтаньяна, Воспоминания туринского рабочего. М., 1951, стр. 206–210.

29

П. Тольятти, Итальянская коммунистическая партия. М., 1959, стр. 42.

Там же, стр. 43

31

"Иностранная литература", 1962, № 11, стр. 200.

32

Это и последующие письма цитируются по публикации"… чтобы наши дети жили в свободном и прекрасном мире", журнал "Иностранная литература", 1962, № 11, стр. 195–207, перевод Цецилии Кин.

33

Л. Ломбардо-Радиче и Дж. Карбоне, Ук. соч., стр. 146–147.

34

Л. Ломбардо-Радиче и Дж. Карбоне, Ук. соч., стр. 133–134.

35

Татьяна Аполлоновна Шуухт — сестра жены Антонио Грамши, Юлии, в то время жила в Риме.

Это и последующие письма цитируются по тексту: А. Грамши, Избранные произведения в трех томах. т. 2, М., 1957.

Навечно (нем.)

38

Пасколи Джованни — итальянский поэт (1855 — 1912).

39

"Каморра" — тайная бандитская организация в Южной Италии.

40

Паскарелла Чезаре (1858 — 1940) — итальянский поэт и прозаик, один из представителей литературы на местных диалектах.

41

Видимо, профессор Фругони.

42

На русском языке публикуется впервые. Напечатано в сборнике "2000 страниц Грамши". Изд-во "Иль саджаторе". 1964.

43

Антонио Грамши. Избранные произведения в трех томах, т. 1. М., 1957, стр. 504–505.

44

Эта и последующие выдержки из "Тюремных тетрадей" цитируются по изданию: Антонио Грамши, Избранные произведения в трех томах, т. 3. М., 1959.

П. Тльятти, Избранные статьи и речи, М., 1965, т. 2, стр. 116–119.